





АСЯ
ВЕКСЛЕР

Ещё не вечер

Книга стихов

Библиотека
«Иерусалимского
журнала»

АСЯ ВЕКСЛЕР
Ещё не вечер
Книга стихов

В оформлении использованы работы Аси Векслер;
на обложке – «Иерусалим. Эйн-Керем» (2011)

Фотографии А. Векслер выполнены
Романом Фарбером (1972), Хавой Тор (2011)

Редактор: Зинаида Палванова
Издательство «Скопус»

PRINTED IN ISRAEL

ISBN 978-965-7129-75-3

© А. Векслер, стихи, статьи, 2012
© А. Векслер, художеств. оформление,
иллюстрации, 2012

*Моим дорогим —
тем, кто рядом, и тем,
кто далеко*



x x x

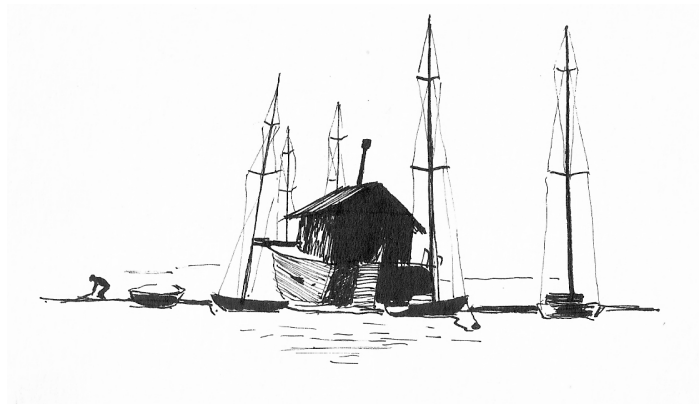
Цвета насыщенней с утра.

Считается, однако,
что ветари титали мастера
приобретают к полудню.

Цвет в полудне - и это так -
вал не вышит опаски.

Необходим зуб или не шрак
для самой легкой краски.

1970



СОРОК ЛЕТ НАЗАД

ОТ АВТОРА

Ровно сорок лет и зим тому назад, а именно в 1972 году, я считалась молодым автором, и в ленинградском отделении издательства "Советский писатель" выходила в свет моя первая книга стихов.

Этому предшествовали публикации в журналах "Нева", "Звезда", "Аврора", а также "Юность", куда отвезла мои стихи Наталья Григорьевна Долинина и где они появились в мартовском номере 1968 года на одном развороте с Татьяной Бек и Татьяной Кузовлевой. Были и другие публикации — в ленинградском "Дне поэзии", альманахе "Молодой Ленинград" и — во время всесоюзного совещания молодых писателей — в "Литературной газете", "Литературной России" и газете "Московский комсомолец".

Всё это растянулось во времени лет на шесть и стало результатом естественного хода событий, а вовсе не моей активности в качестве автора.

Одновременно с публикациями происходили другие памятные события, связанные со стихами, с Домом писателей на улице Воинова, первыми выступлениями, новыми знакомствами и началом многолетних дружб.

Там, в Доме писателей, бывшем особняке Шереметева, в некогда бальном зале, давно приспособленном для писательских вечеров и собраний (а это тема бесконечная — от осуждения Михаила Зощенко до незабываемого авторского чтения там один-единственный раз молодого Иосифа Бродского), — именно там, под присмотром лепных ангелов и лир, во время одного из мероприятий я впервые получила книгу с автографом. Она называлась "И нет мне отпуска...", надпись на титульном листе заканчивалась словами *в ожидании ответного дара*, а вручил её мне Вадим Халупович.

Он оказался человеком последовательным и через какое-то время поинтересовался, собрала ли я рукопись. Ответив утвердительно и добавив, что не знаю, с чего начать, я тут же услышала совет: придти в Дом книги, подняться на третий этаж в издательство "Советский писатель" и попросить Игоря Сергеевича Кузьмичёва посмотреть рукопись. И через несколько дней, ощущая острый дефицит отваги, — а она требовалась, потому что в самых ярких книгах прозы и поэзии, выпускавшихся "Советским писателем" в Питере, неизменно значилось: "Редактор И. С. Кузьмичев", — я решилась попытать удачи.

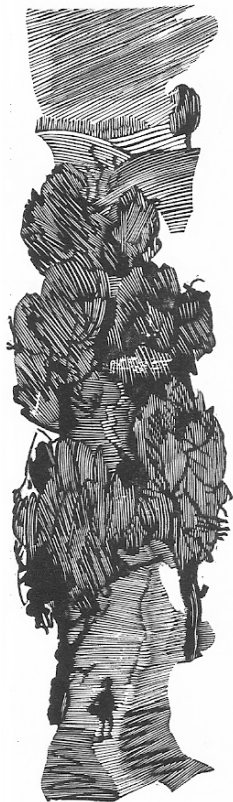
Рукопись — тощенькое содержимое канцелярской папки — была напечатана одним пальцем на одряхлевшем "Ундервуде", у которого недоставало восклицательного знака. Это обнаружилось не сразу — что в жизни, что в стихах мне редко сопутствовали восклицания. И в единичных случаях, когда было необходимо задействовать этот знак, его приходилось проставлять хорошо заточенным карандашом.



И вот, оказавшись неожиданно-непрошено в комнате редакторов возле стола Игоря Сергеевича со своей рукописью, которая называлась "Красная свеча" (по одноимённому восьмистишию, адресованному моей сокурснице Тане Кофьян), я обратилась к нему с просьбой о прочтении, и после небольшой паузы он произнёс: "Хорошо, я прочту. Но не могу ничего обещать, у меня много рукописей. Зайдите через две недели".

Кое-как прожив дни ожидания, дождалась почти невероятного: "Ну, что же, давайте будем делать книгу. Когда будут накапливаться новые стихи, приносите, чтобы дополнять рукопись".

Я приходила туда каждые два-три месяца, держа наготове очередные листы со стихами. Игорь Сергеевич быстро просматривал принесённые стихи, после чего часть из них приобщал к рукописи, а оставшиеся возвращал без комментариев. Но однажды мне вдруг было сказано, что если бы



это принёс такой-то, — последовало имя уже известного поэта, — он бы не усомнился, что стихотворение написано им, этим поэтом, а не кем-то другим.

Такие стихи, изначально оказавшиеся за бортом, в дальнейшем я никуда не предлагала, и, стало быть, они не печатались и, в основном, не сохранились, хотя отчасти или целиком помнятся до сих пор. Например, вот это, о гадании на спичках: *Движением обычным / скользнув по коробку, / две вертикальных спички / я третьей подожгу. // Как двое человечков, / застыв, они стоят. / Два спичечных сердечка / отчаянно горят. // Пускай внизу окурки / и крошки со стола, / две спичечных фигурки / сейчас сгорят дотла...* И так далее, — до конечного вывода: *Ах, знать, не стоит спичек, / не то, что свеч, игра.*

Наконец, когда рукопись сложилась и благополучно миновала двухступенчатое рецензирование, прозвучало: "А теперь зайдите к главному редактору и поинтересуйтесь, попала ли ваша книга в план". Нет, в план будущего года книга не попала, надо было ждать следующей возможности, а пока по-прежнему продолжать приносить новые стихи...

В какой-то момент пришлось отказаться от первоначального названия "Красная свеча" (как выяснилось, неприемлемого) и подыскать другое, — в итоге будущая книга стала называться "Чистые краски". Но на заключительном издательском витке произошла неувязка: стихотворение с этими словами было изъято цензурой, усмотревшей криминал в утверждении о том, что *необходим чуть ли не мрак // для самой чистой краски*. Впрочем, это устранение удалось восполнить в моей следующей книге, когда сложился небольшой цикл стихов "Уроки мастерства", — под благонадёжной крышей такого названия те же две строки обрели узаконенность существования.

Как бы то ни было, настало время для того, чтобы осведомиться о внешнем оформлении будущей книги. Дело в том, что я хотела заняться им сама, — на это были основания. Окончив тремя годами ранее книжную мастерскую института им. И. Е. Репина (или, как говорилось по старой памяти, Академии художеств) и начав работать в качестве художника книги, я сделала к тому времени сколько-то работ (среди них — переиздания Тургенева, Ольги Форш и Александра Грина), но всё это происходило в других издательствах, а вот с "Советским писателем" отношения поначалу не заладились.

Тут придётся отступить в 1968-69 годы и вытянуть на свет несколько памятных эпизодов. Последовав один за другим, они образовали своего рода цепочку, начальным звеном которой послужила подборка в газете "Смена", где в корот-

кой заметке, предварявшей несколько моих стихотворений, упоминалась тема моей дипломной работы — повесть Ольги Берггольц "Дневные звёзды", что давало возможность поместить там же две-три иллюстрации.

Далее, кружным путём — из горьковской молодёжной газеты, куда почему-то попал тот номер "Смены", — о публикации, связанной с творчеством Ольги Берггольц, сообщили автору статей и книги о *Блокадной музе* — питерскому литературоведу Наталье Банк.

И вот, благодаря незнакомой журналистке из Горького, знавшей не знакомую мне тогда Наталью Банк, я очутилась у Ольги Фёдоровны Берггольц, в комнате с обоями особого цвета — кобальта синего, оттенённого ультрамарином.

Она посмотрела с благосклонностью мои гравюры, вклеенные в готовый макет "Дневных звёзд" (дипломная работа была сделана по всем правилам, включая тканевый



переплёт и суперобложку). И я уходила от неё, перебирая подробности недолгой, но удивительной встречи, радуясь тому, что моё представление об этой книге, какой она могла бы быть, ей по душе, и что это и есть самое важное для меня.

Как обнаружилось вскоре, показ был не только не безуспешным, но и, можно сказать, довольно-таки результативным, если судить по тому, что через некоторое время она сказала кому-то в "Советском писателе", где в ту пору готовилось переиздание этой её книги, о моих гравюрах и оформлении: ей хотелось, чтобы их там посмотрели. Я же услышала об этом неожиданно — от Михаила Ефремовича Новикова, художественного редактора издательства, когда он, вдруг позвонив мне, назвал себя, сказал о просьбе Берггольц и назначил время для просмотра макета, который она видела.

А дальше было так. Посмотрев и похвалив, он заключил тем, что, к сожалению, гравюры слишком тонкие, поэтому их не воспроизвести более или менее качественно типографским способом; к тому же эта книга уже заказана художникам такому-то и такой-то, людям известным, так что... И сказка прервалась, едва начавшись. Зато, при всём при том, и поныне сохранным благодарное, хоть и коротенькое воспоминание об Ольге Фёдоровне Берггольц.

Но теперь всё обстояло несколько иначе, и на моё *я хотела бы сама* Михаил Ефремович довольно сухо ответил: "Это ваша книга, вы профессиональный книжный художник, и я не могу вам отказать".



А между тем, оформить свою книгу столь же непросто, как бывает врачу лечить кого-то из своих близких. Но и отказаться от попытки найти зримый образ того, что напи-



сано тобой, может быть, ещё трудней. Не отступалось и домашнее присловье, которое по разным поводам, как бы сама себе, повторяла мама: *своя рука — владыка*. Во что бы то ни стало, чего бы ни стоило, мне было совершенно необходимо совладать с собой и своей будущей книгой.

Выручило моё стихотворение об одном из старых питерских домов. Я ездила мимо него много лет, пока училась в СХШа, а затем в Академии художеств.

Если приближаться к Театральной площади со стороны Садовой улицы, минуя Никольский собор и сад вблизи него, то на повороте, слева по ходу движения, нельзя не заметить угловой дом с масками над окнами первого этажа. Они, эти маски, вдруг затевают своё мелькание с той скоростью, какова она у проезжего транспорта, из которого глядишь как замороженный, пока снаружи смех меняет на рыданье, / бровь прямую — на излом, / зла с добром чередованье / и опять — добра со злом. Этот уличный театрик тут же остаётся позади; и, поглощённый зрелищем, не успеваешь запо-

нить, что в конце там, что там с краю, / кто в итоге победил, — покуда, наконец, не задашься целью сконцентрировать внимание на лепном символе последнего окна.

Вот и начали — в который раз, но уже на бумаге — чередоваться эти самые маски, теперь соединённые между собой тонкими, вроде нотных, параллельными линиями, как бы имитирующими скорость, сквозь обе стороны обложки, от края до края, там и там навывлет. И, как мне представлялось, их масочные, беспримесные эмоции, — если не улыбка, то страдание, — в каком-то смысле были сродни чистым краскам.

А впоследствии вдруг стало известно, что в этом доме жила и живёт та самая М. Б. — многолетний и, очевидно, вечный адресат любовной лирики Иосифа Бродского.

Что же касается обложки и макета моей первой книги, то они были выполнены в срок и утверждены. А через шесть дней, о чём поныне свидетельствует давняя чернильная запись, я получила от Михаила Ефремовича Новикова первый заказ на книжное оформление. С него началась — и прекратилась лишь через двадцать лет по причине отъезда в Израиль в 1992 году — моя работа для издательства "Советский писатель" в качестве художника книг.

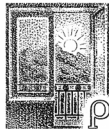
Напечатанные обычным для того времени десятитысячным тиражом "Чистые краски" вылупились из разраставшейся "Красной свечи" за четыре с лишним года. Считалось, что это очень быстро. Кое-кто задавал наводящие вопросы, и я рассказывала, как было дело.

Книга не залежалась на прилавках магазинов, что было тогда в порядке вещей: женская лирика раскупалась очень быстро. В обход политики и всего, что к ней примыкало, женщины предпочитали писать преимущественно о себе и как бы для себя, но почему-то выходило, что и для других тоже.



Сами собой появились рецензии: в газете "Смена", журналах "Нева" и "Звезда", альманахе "Молодой Ленинград". Самая же основательная из них, наибольшая по объёму, была написана Всеволодом Александровичем Рождественским и отправлена им в "Литературную газету", откуда её вернули под предлогом того, что шёл 1973 год, а на титульном листе книги значился 72-й. Если исходить из такой логики, книжные новинки конца года (как в моём случае) вообще не подлежали рецензированию. Я узнала о существовании этой рецензии, равно как и о неудавшейся попытке её опубликовать, от Всеволода Александровича в отделе поэзии "Невы", когда пришла туда с подборкой новых стихов. Он, как свойственно людям, прожившим долгую жизнь в отнюдь не благополучные времена, видел на своём веку то самое *море зла*, по срав-

нению с которым отказ из "Литературной газеты" выглядел хоть и досадным, но вовсе не катастрофическим эпизодом. Он даже улыбнулся, — помнится, не без грусти — и сказал: "Я пришлю её вам, — на память". Вот тогда я и осознала, что передо мной не зелёный свет, а нечто вроде не полностью открытого шлагбаума.



Но при этом, благодаря Всеволоду Александровичу, в моей жизни вскоре появились, одно за другим, знакомства с замечательными людьми, о которых нельзя не рассказать. Может быть, это осуществится в другом, более просторном литературном жанре, не потакающем привычке *опускать подробности*.

А пока упомяну — может быть, другого подходящего случая не будет — о совсем иных последствиях выхода моей первой книги. Года полтора спустя в ленинградское отделение "Советского писателя" пришла заграничная бандероль на моё имя. Я приехала получить её, и, против ожидания, момент получения затянулся. Бандероль, уже вскрытая, лежала на столе должностного лица, и оно, это лицо, настойчиво задавало мне вопросы, интересуясь одним-единственным обстоятельством: как моя книга попала отправителю, отклик-

нувшемся на неё из заграницы? Мои ответы были однообразны, — я действительно ничего не знала, ничем не могла "порадовать" и в итоге предположила вслух, что кто-то мог её купить в Москве или Питере и увезти за рубеж. Мне дали понять, что переписка нежелательна.



Когда бандероль оказалась, наконец, в моих руках, я извлекла из неё единственное содержимое — книгу, страницы которой, изначально соединённые, как в старину, кто-то уже разрезал по линиям сгибов. Замеча-

тельная дарственная надпись на русском языке была сделана тушью, тогда как шрифтовое оформление и весь текст книги, — по первому впечатлению, на одном из скандинавских языков, — воспроизводили тот же каллиграфически-искусный почерк типографским способом. Имя автора — Иван Малиновский — совпадало с именем лицейского друга Пушкина, но дата — июль 1974 года — тут же возвращала всё на свои места, в пространство, где внутренняя свобода не всегда распространялась на свободу внешних проявлений. Об Иване Малиновском (1926 — 1989) почти ничего не узнать в Интернете на русском, но на английском дело обстоит иначе. Он, славист и поэт-модернист, жил в Дании, где был широко известен не только как поэт, но и как автор лучших переводов Чехова на датский язык. Кроме того, он переводил Пастернака, Лорку, Паун-

да, Брехта и Неруду (список можно продолжить). Судя по одной из статей, для него, жившего по другую сторону Балтийского моря, много значил "протест против отчуждения людей друг от друга в современном обществе"...

Примерно с той поры у меня начался период неясной тревоги, хотя видимых причин для неё не было.

Кое-что объяснилось в конце марта 1993 года, уже в иерусалимской жизни, когда перед началом вечера поэтов, пишущих на русском языке (шёл международный фестиваль поэзии), ко мне подошёл незнакомый человек. В просторном каменном дворе, своеобразном фойе под открытым небом, преддверии театра Хан, оживлённо переговаривались нарядные люди, а я слушала неожиданный рассказ бывшего питерца. Речь шла как раз о том времени, когда началась моя тревога... Он находился под следствием, один за другим шли допросы. Дополнительный повод для них дало его письмо на волю, в котором он привёл по памяти (пришлось к слову) окончание одного стихотворения из моих «Чистых красок»: *"Вот дом. Как близко от дворца / был дом над Мойкой — // такую чёрною рекой / при свете свечки, / что от неё подать рукой / до Чёрной речки"*. Следовательно хотел знать, кто автор этих стихов, знакомы ли мы, намёк на какой дом на Мойке содержало письмо и по какой причине упоминается Чёрная речка...

На мгновение вернулось прежнее ощущение близкой опасности — небеспочвенной, как выяснилось с опозданием почти на двадцать лет. Несмотря на такой срок давности,

момента́льно вспомни́лось всё, — вплоть до слов единственной моей просьбы, обращённой к самому близкому человеку: **п о с л у ш а й, е с л и с о м н о й ч т о - т о с л у ч и т с я...**

Можно ли было предположить тогда, когда это говорилось, что в ином пространстве, на другом витке жизни обнажится кафкианская правда того предчувствия — совсем не обманчивого, но, на моё счастье, почему-то не материализовавшегося?..

Между прочим, это сведение концов с концами состоялось в самом что ни на есть подходящем месте — на территории старинного иерусалимского караван-сарая, средоточия людских пересечений. Основная постройка, возраст которой отсчитывают ещё от нашествия крестоносцев, омолодилась и преобразилась, сменив не только имидж, а и своё предназначение, и в 1972 году, когда мне о ней решительно ничего не было известно (может показаться, что даты заведомо знают о нас больше, чем мы о них), она приютила первых актёров и зрителей.

Новой сценической площадке шёл уже двадцать первый год. Я же находилась там впервые. Камни дворовой вымостки перед театром Хан сделались невольными свидетелями иррациональной стороны стихосложения, а случайная встреча стала чем-то вроде устного эпилога к небольшой книжке стихов, державшейся на двух скрепках.

У каждого из перешедших определённый возрастной рубеж есть своё *далёкое близкое*. Здесь, на страницах, заменяющих предисловие, небольшая часть пережитого сорок лет тому назад. Что не так уж давно, если отрешиться от частного случая своей судьбы, заодно и личной хронологии, и мысленно обратиться к временам несравненно более отдалённым.

Обнаружатся кое-какие параллели.

Отправная точка одной из них обретается в Интернетовской статье, которую не удалось найти вторично, а по-сему приходится упомянуть, — в обход его имени и рода занятий, не отложившихся в памяти, — некоего жителя Древнего Рима, который сетовал в письме другу (придётся и ему остаться безымянным по той же причине) на недавнее подорожание предметов первой необходимости, в связи с чем приводил конкретные примеры из тогдашней жизни.



В другом случае речь пойдёт о пище духовной, а отправную точку не составит труда найти в Интернете или, как это было до эпохи виртуального подспоря, в предисловиях к томам "Библиотеки античной литературы", посвящённым великим римлянам и их творческому наследию. Вопреки теперешним представлениям, выяснится, что не было и нет особых оснований говорить о популярности поэзии, востребованной преимущественно в *кружке* влиятельного человека, чьё имя впоследствии

превратилось в нарицательное и общеупотребительное (несмотря на то, что под этим именем в любые времена продолжал оповещать о своём некогда реальном существовании Меценат с прописной, а не строчной буквы). Менее известно, что *он и сам был поэтом, но не очень удачливым*. Как бы то ни было, ни ему, ни другим, более признанным авторам, не приходило в голову сокрушаться о недостаточном интересе к стихотворному жанру: незадолго до кануна новой эры как-то само собой подразумевалось, что поэзия создаётся немногими и для немногих.

Но и существенно позже, например, в октябре 1817 года, когда вышли в свет "Опыты в стихах и прозе" К. Н. Батюшкова, дела с востребованностью обстояли не лучше. Об этом, в частности, говорит его переписка, в которой перед выходом "Опытов" (дань Монтеню!) он настоятельно просил Н. И. Гнедича, исполнявшего роль издателя, не делать подписку — по причине опасения, что вряд ли найдётся достаточно желающих. Тем не менее, подписку объявили, и набралось аж 183 подписчика, что оказалось приятной неожиданностью. Было от чего, пусть ненадолго, воспрянуть духом!

Мы же пребываем в недоумении — у нас другое восприятие.

Ведь это Батюшков, написавший *"Мой друг, я видел море зла..."*, *"О, память сердца! Ты сильнее..."*, *"Я берег покидал туманный Альбиона..."* и так далее, включая образцы неустаревающей прозы, ближайший предшественник Пушкина,

человек того же круга, схожего образа мыслей и общих литературных пристрастий — вплоть до того, что оба, хоть и с интервалом в девятнадцать лет, цитируют одну и ту же строку из Горация: Батюшков — в одном из писем, адресованных Гнедичу; Пушкин — в "Путешествии в Арзрум": "Льются, скользят годы, о Постум, Постум..." .

И тут приходится немного отвлечься от цитирования классиками этой строки, звучавшей для них на латыни, — не столько по причине сожаления о пробелах в общеобразовательных программах, по которым мы учились (хотя и поэтому тоже), сколько из-за удвоенного разговорной интонацией имени, донёсшегося издалека и пребывающего у многих на слуху.



Судя по всему, этот самый Постум был не только замечательным собеседником, но и почти беспримерным счастливецом. Мало того, что ему выпало быть удачливым при жизни; повезло и после неё — на неограниченное время. Иначе не дал бы он знать о себе в Питере 1972 года Бродскому в предотъездную для поэта пору, когда он, Постум, пребывая всё в том же качестве *римского друга* на уже давным-давно посмертном пути, волей-неволей обновил свою двухтысячелетнюю славу. Заметим: всего лишь ценой бессловесного, бестелесно-эфемерного присутствия. Причём нет оснований приписать это перевоплощению: Постум — он и есть Постум.

Нынче тоже бывает ветрено, но ветры — другие, да и волны — не одни и те же.

Календарь, едва заполучив новое число очередного месяца текущего года — одного из тех, что когда-то казались запредельными, — тут же сбывает с рук ещё свежую дату, словно она и есть скоропортящийся товар, — её подхватывает и уносит постоянное действующее лицо — прошедшее время. Не в пример нам, время от времени глядящим вслед ему, оно никогда не испытывает потребности оглянуться: его равнодушие окончательно и бесповоротно.

И всё привычней то, что книги стихов залёживаются, прибыльности никому не сулят, а читатели поэзии получили статус *избранных*, коих *мало*. Таковы обстоятельства времени, у каждого из которых свои причины быть именно такими.

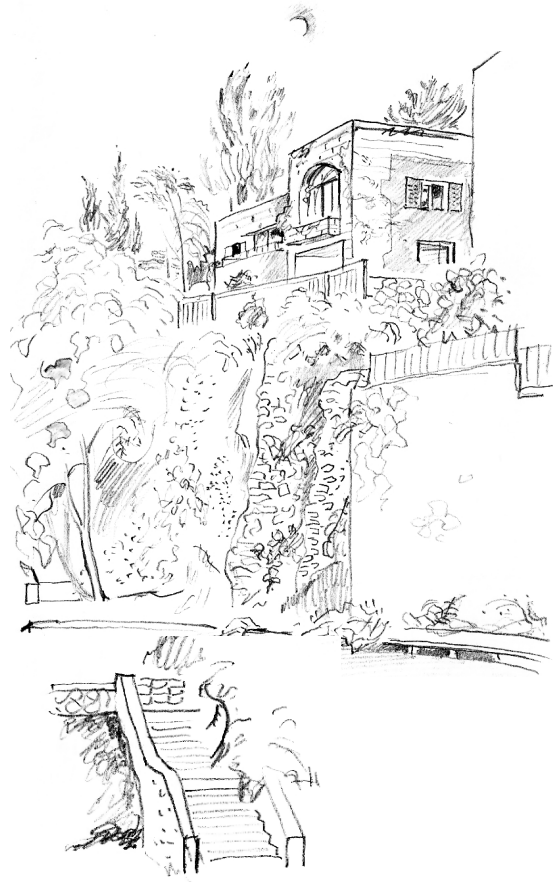
Но ведь и от себя не уйдёшь, так что продолжение пока ещё следует: накапливаются стихи, в том или другом порядке складываются в книгу, отыскивается более-менее удачное её название, делается подходящее оформление и так далее — вновь и вновь движешься по знакомым виткам книгоиздательской спирали.

У этой моей — шестой по счёту — книги стихов, написанных после 2005 года, будет название, которое повторяет собой небезызвестное, не вчера и не позавчера ставшее расхожим словосочетание *ещё не вечер*. Эти слова петы-перепеты-запеты, но не выходят из употребления, и не

очень понятно, чем их заменить, одновременно не впадая в многословие. Самое же существенное в них то, что на сегодняшний день они продолжают поддерживать в сохранности всё более необходимую иллюзию запаса будущего времени, глагольного в том числе.

Иерусалим
2012







МЕНТАЛЬНОСТЬ

Горянка с дудочкой в руках —
та гостья; да и ты в горах —
вверх-вниз — не хуже горца.
Забудь о том, что староват, —
цепляйся за китайский взгляд
на возраст стихотворца.

Как волосок, смахни и сдунь
обузу лет. Считал Ши Лунь,
что за ранжир в ответе
не только дар, но каждый миг,
и тот, мол, более велик,
кто дольше жил на свете.

Всё это слышала не я.
Так пересказывал Р. Я.,
конечно, близко к тексту.
«Как быть, — качал он головой, —
с литературой мировой,
где всяк приписан к месту?»

Теперь кружит душа Р. Я.
над городом, где нет меня,
где воды в новых бликах.
А в мастерской его — Ши Лунь,
как говорят, седой как лунь.
Он стар, он из великих.

А нас где носит? Вот, пыля,
даёт дорога кругаля.
Без лифта, так без лифта
до верхней улицы с шоссе.
Сменились клетки? Вряд ли все:
ведь те же — кровь и лимфа.

Как прежде, у окна в шкафу
не прожигает жизнь Ду Фу,
Ли Бо насквозь всё видит.
Кто б спорил? Должно долго жить
и взлёт позднейший заслужить.
А высота — как выйдет.

ПОЗДНЯЯ ЭЛЕГИЯ

И вот мы не юны, не любы, не милы.
Урезаны сроки, убавлены силы.
Вконец неотступна усталость,
хотя и она исчерпалась.
Но даже теперь, на нераннем десятке,
с надеждой у нас всё в порядке.

Сама по себе, вне молвы многолетней
ни первой она не уйдёт, ни последней.
В туннеле теней, по-над краем,
пока мы сей мир покидаем,
она, обещая пунктир, а не точку,
заменит душе оболочку.

Опомнясь, душа наберётся отваги,
чтоб к жизни вернуться в Бордо, или в Праге,
пусть бабочкой, хоть однодневкой,
над Влтавой, нет, снова над Невкой.
Хотелось бы в Берне. А лучше бы в Риме.
Но прежде — в Иерусалиме.

ПОЧТИ МОНОЛОГ

— Ну разве справедливо, — говорим,
вслух рассуждая с кем-нибудь своим,
кто никакой не встречный-поперечный. —
Да, это правда: вечный город — Рим.
Эпитет прочно закреплён за ним.
И тем не мене, Иерусалим
намного прежде Рима город вечный.

Кого захочет он приворожить,
тому в нагорных улицах кружить.
Хоть не на ветер каркает ворона,
увидеть Иерусалим — и жить.
А в Рим слетать. С Венецией дружить.
И, воротясь домой, верлибр сложить
о вечности, не терпящей урона.

АСТРЕЯ*

К Древней Греции ластятся солнце и синь.
От загара лицом бронзовея,
там живёт среди смертных одна из богинь.
Имя этой богини — Астрея.

И когда соплеменники — свой своего —
притесняют в раздорах извечных,
для неё справедливость важнее всего:
никого нет главней подопечных.

Всех обид не унять, не восполнить прорех
в городах и селениях дальних.
Не хватает раденья Астреи на всех
ни вблизи, ни в пространствах астральных.

Уподоблено бденью её забытьё,
хоть старанья не вовсе напрасны.
И повсюду, где пролиты слёзы её,
в свой черёд распускаются астры.

У неё на глазах — непросохшая соль,
но зато разноцветны посевы.
И не зря для неё предназначена роль
превращённой в созвездие девы.

* В греческой мифологии богиня справедливости.

Этот век золотой, видно, век ещё тот, —
правда в целом нелицеприятна.
Тут и там справедливости недостаёт.
Тем не мене, она вероятна.

Идеального времени нет на земле.
Есть привязанность к жизни — и место,
где настольная лампа горит на столе
и душе в оболочке не тесно.

ТОЛЕДО

Много мест, куда я не доеду
волей обстоятельств и прорех.
Нет числа приманкам. Но Толедо —
самая желанная из всех.

Первым делом, вспять, как по туману,
восемь сотен раз промчав апрель,
я бы там искала Галиану
в память о красавице Ракель.

Даром что поэзия не проза
(ну же, лингвистическая прыть!),
я бы научилась там *Фермоза**,
лишь расспросов ради, говорить.

Но, прижившись, вездесущий аргус
бдит и там, где с высоты холмов
неизбежен вертикальный ракурс
самых быстрых, ближних облаков.

Потому, спустя четыре века,
даже б и с ресницею в глазу,
посмотреть бы, как писал Эль Греко
панораму города в грозу.

* Красавица (исп.).

А Толедо — местности невольник,
и его заведомый расклад
вписывается в прямоугольник.
Мастер же припас почти квадрат.

С мест срывались линии шальные:
каждой — назначение своё.
Вспыхнули, как лезвия стальные,
границы, стыки, башни остриё.

Из последних, поздних лет победа.
Мало пригодилась бирюза.
Над его пристанищем — Толедо —
звёздный час, хотя гремит гроза.

Времена, как люди, разминулись.
Тем ценней общенье с мастерством.
Доменикос Теотокопулос —
как он там, во времени своём?

Эти тучи дыбом, с их сноровкой,
попридержат водоносный дар.
Не покроет ливень лессировкой
склоны, арки, замок Алькасар.

Утешай нас, всё, что безутешно.
Вот, к примеру, чем не благодать —
облака, похожие на те, что
там, в Толедо, можно наблюдать.

Н. Локшиной

Я рисую людскую цепочку.
Семьи, пары, а кто — в одиночку,
окружённые стражей, сквозь дым
оставляют Иерусалим.

Между бычьих повозок и конских
вслед верблюдам до рек вавилонских
обжигать им ступни о песок,
выдыхаясь, идти на восток.

Соплеменники, родичи, предки.
Налицо родословные ветки,
ропот с гомоном, под ноги взгляд
больше ста поколений назад.

Давит ноша, сутулятся спины,
вьются кудри, волнятся седины.
Чётко вижу не со стороны:
нет ни тени на них, ни вины.

Но над каждым из них, от пророка
до младенца, нацеленность рока.

* Падение Иудейского царства и начало Вавилонского плена.

Но лучист и воздушен покров
их имён. И во веки веков

этот день будь не к ночи помянут.
Лишь иерусалимский пергамент
в силах выдержать зримый повтор
среди тех же, что в древности, гор.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Наметилась работа заказная.
И я была готова взяться, зная,
что жить придётся, вольно не дыша,
немалый срок. Но тем не мене сразу
я привязалась загодя к заказу
до уговора, без карандаша.

Есть клавиши, что западают прочно.
Заказчица адресовала точно
свою мне тему, вовсе не забыв
всё то, с чем взгляд сроднился, а не свыкся,
в пространстве от Кунсткамеры до сфинксов,
попавших в Петербург из древних Фив.

Она, живя в краю обетованном,
хотела видеть дома над диваном
всю протяжённость набережной той.
Воспоминания не оплошали
и, как бы на письме, перемежали
приметы зданий точкой с запятой.

Бог знает, где: на постбиблейских склонах
я множила число часов бессонных,
не зря на север лёжа головой.

И в два воображаемые метра
я втиснула разбег и скорость ветра
со стороны закатов за Невой.

О, земляки, знакомцы, экскурсанты!
Почти как стоматолог имплантанты
вживляет в пациентову десну,
для жизни я вживила вас любовно
в тот воздух, притянувший безусловно
конец зимы с надеждой на весну.

И кое-кто из канувшей эпохи
был тут как тут. Поклоны, ахи-охи,
чуть слышный шелест, лиственный почти.
Окраска их бледна и одноцветна,
но даже и на первый взгляд заметна —
ведь, проходя, нельзя совсем пройти.

Вот публика! Состыковались эти
и те. Светлейший Меншиков в карете
путь иномарки не загромождал.
И Тане К., идущей с иностранкой,
стажёркой Д., художницей-датчанкой,
гэбэшный сыщик слезкой досаждал.

Проскок с утра, под вечер ход обратный —
там был и мой маршрут неоднократный.
Там всё тянулось к будущему. Там

и ныне не имеющая тождеств
прогулка в Академию художеств
по собственным следам, одним из множеств,
по батюшковским строкам и стопам.

Наполнен тот простор. Но и отмечен
потерями. И их восполнить нечем.
Тех, кто был рядом, надо рисовать
по памяти; хватило б только зренья,
умения — оттуда — и везенья:
нельзя ведь, как известно, сплеховать.

Но вот итог. Заказ не состоялся.
На тормозах спустился, рассосался.
Быть по сему. И далее бывать.
Той набережной, — вот какое дело, —
я, если честно, вовсе б не хотела
ни в розницу, ни оптом торговать.

ВО ЗДРАВЬЕ

Притомились краски водяные.
Ждут покоя акварель с гуашью.
Кисти устают волосяные, —
скорость их сошла б за черепашью.
Да и сам ты, инструмент рабочий,
не в себе — в руках предназначенья
лишь осуществитель полномочий,
подлежащих мере пресеченья.

Вот он, вирус твой, не понаслышке:
с воздухом внедрён, и взятки гладки.
Ты хотел корпеть без передышки —
отдыхай, уложен на лопатки.
Одолел тебя он, обесславил,
вырубил. Похоже, есть причины
вспомнить дядю самых честных правил
с ширмою словесной для кончины.

Сколько их упало в эту бездну...
Столько, что соломинки-цитаты
на краю удержат безвозмездно,
прорастая в будущие даты.
Там в почёте не железный Феликс, —
искус жизни, утром обновлённой,
сон и явь с участием птицы Феникс:
— Ну же, встань, побыв испепелённой.

ПИТЕРСКИЙ СОН

Лет с тридцати семи, а может, сорока
храню я этот сон, — целёхонько виденье.
Балтийский ветер, залив, каналы и река
в нём благостны: забыто наводнение.

Почти что в стороне Магритт и Кирико.
В туманности земной тайфуны и цунами.
И всё-таки волна взмывает высоко
за ближними, в пять этажей, домами.

С чего бы вдруг? Уму непостижимо: страх,
едва явясь, подпал — не обуял пугливых —
под роковой гипноз, под крыловидный взмах
в зеленовато-сизых переливах.

Быстрее запоминай: она, того гляди,
обрушит гребень свой, — и ничего не сделать.
Теряя высоту, кренится впереди
девятый вал, умноженный на девять.

Вот-вот уйдут на дно края материка.
Ещё не родились ни Руфь, ни Пенелопа.
И возраст — тридцать семь, не больше сорока
приходится на времена потопа.

НА ПАМЯТЬ О ПОБЕРЕЖЬЕ

Не до прихотей. Однако,
без обиды на судьбу
вижу порт, подобный Акко,
как в подзорную трубу.

Налицо бывшие мили
купоросно-синей мглы,
запах рыбы, тины, или
древесины и смолы.

Там совсем немноглюдно,
там работа — не вопрос,
там на мачтовое судно
не спешит попасть матрос.

Он торопится иначе:
узнаёт, кто у руля
и каков запас удачи
капитана корабля.

Он не промах, — промахнётся
шторм, а может быть, разбой.
Он, Бог даст, назад вернётся
за века до нас с тобой.

Знать бы смолоду, как надо
отправляться в океан
тем, кто сам себе команда,
рулевой и капитан.

Цвета моря стеклотара.
На губах не молоко.
Уже горло Гибралтара,
чем игольное ушко.

SEA GATE*

Б. Иоселеву

Возможность погостить на океане, —
что можно было знать о ней заранее,
какой-токой располагать приметой,
тем боле там, в той жизни, а не в этой,
когда ничто, казалось, не сулило
особых странствий, — разве что светила
свежо мерцали над водой канала, —
та в сторону залива отбивала.

О, дальнoзoркoсть! Глянув, обнаружу
себя, идущей стопами наружу,
лицо чуть вверх, прямая тень за спину.
Какой мне смысл сойти за балерину?
Ах, если есть конкретные вопросы,
то я ступаю улицею Росси;
а если интересны вам детали,
там настоящих балерин видали**.

Я сызмальства под музыку любую
танцую; а когда и не танцую,

* Морские ворота (*англ.*). Название части Бруклина.

** Одна из центральных улиц Санкт-Петербурга, где находится Хореографическое училище им. А. Я. Вагановой.

хоть для красотки, хоть для оборванца
могу из мглы извлечь рисунок танца.
И стать бы мне танцоркой несусветной,
но опоздала с выучкой балетной, —
недетский крах, что, безусловно, грустно,
зато есть выход: смежные искусства.

То плавное, то резкое движение.
Менялась жизнь — и местонахождение.
И выдался блаженный промежуток:
в соседстве с океаном трое суток
я просыпалась в комнате зеркальной, —
недоставало только пачки бальной
и башмачков атласных на пуантах,
и ранних лет в надеждах и талантах.

СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЬ

Не взглянув на часы, до минутки
знаю, сколько на них. В полусон
пробивается отзвук побудки
отведённых на вырост времён.

Чётко слышен из лет-недоростков
папин голос, пока в глубине
проступает Васильевский остров,
а не улица Исланд в окне.

Жизнь в эскизе, вчерне. Я спросонок,
и у зеркала заспанный вид.
Семь пятнадцать сейчас. А семь сорок —
только то, что ещё предстоит.

Напишу апельсины на блюде,
блики света с касаньем теней,
знать не зная, насколько — проснуться —
станет многих желаний важней.

Семь пятнадцать. Не поздно, не рано.
Если вдруг не проснусь, разбуди.
Мне теперь на великие планы
явно тесен виток впереди.

ГРАНАТ

Не только украшеньё, а сюжет.
Накал страстей, условности и вкусы.
Дань Куприну — гранатовый браслет.
И побок — гранатовые бусы.

По молодости лет — мечта мечтой:
нет ни его, ни денег на старинный.
Гранатовый, пусть не совсем такой,
пусть поздновато, вот он, за витриной.

Лежит себе на улице Кинг Джордж*,
и, зная не зная короля Георга,
вне всех границ, он чересчур хорош,
а я не лажу с навыками торгова.

«Примерите? Он будет по руке».
Защёлкнув свой замочек честь по чести,
готов он сразу быть накоротке.
Плати, бери, — и, хоть куда, с ним вместе.

Но так близка вечерняя заря,
так велика былых судеб обуза.

* Улица в центре Иерусалима, названная в честь английского короля Георга V (1865 – 1936).

Не та пора. По правде говоря,
теперь и без того хватает груза.

След старины сумеет предпочесть
одна из юных, лёгких, смугловатых.
А мне — взамен несбыточности — есть
гранатовые зёрнышки в гранатах.

Найду часок, рассказ тот вновь прочту.
Но есть и послесловие: годами —
гранатовое дерево в цвету,
гранатовое дерево с плодами.

А если место знать — наискосок
от ювелирной лавки, то, наверно,
гранатовый пусть отожмут вам сок, —
он в шекелях дешевле, чем на евро.

УЛИЦА ИСЛАНД

1

Глядя на ранневечернюю пору,
улица Исланд взбирается в гору.
А обернёшься — и вон из игры:
улица Исланд сползает с горы.

Классик ошибся, взглянув однобоко.
Тьма в этот город приходит с востока,
с моря — ветра, с океана — дожди.
Кроме прогноза, что там, впереди?

2

Если не камни, то палки в колёса.
Улица Исланд горбиною носа
смотрит на север. И вот ведь — видна
далью омытая тёзка-страна.

Судно в пути из рейкьявикской бухты
(рыба, а главное, морепродукты
в страны Европы). Взамен — сухогруз.
Не шебуршится там Евросоюз.

3

Милое дело — житьё островное,
 ежели остров оставлен в покое.
 Глянешь за фьорды — сосед как сосед:
 где там датчанин, норвежец и швед?

Всмотришься издали взглядом дотошным —
 поползновения зыблются в прошлом.
 Как в старину говорилось, *оне*
 в сагах, в архивах, в обломках на дне.

4

Это у нас не расхлёбана каша,
 Хоть изначально земля эта — наша,
 ибо её исторический план
 Богом озвучен и праотцам дан.

Справки наводятся в Ветхом завете.
 Тем, кому некогда, см. в Интернете.
 К сведенью всех: до скончания лет
 правка не вносится в Ветхий завет.

5

Жара дневного, загара на коже
 хватит у нас на Исландию тоже.
 А у исландцев — обратный запас
 в виде гренландской прохлады для нас.

Наш перегрев. Их переохлаждение.
Плюс-минус место. Итог: нахождение
там, где ты гость, или же гражданин.
И не дано золотых средин.

6

Материковые островитяне,
мы себя чувствуем, как на вулкане.
А, где мы не были, свой балаган:
спавший лет двести проснулся вулкан,
вскользь упомянутый (будто бы лазить
где-то там взглядом и значило *сглазить*).
Улица Исланд, не пряча свой взгляд,
молча берёт восьмистишье назад.

7

По возвращении мягче погода,
дали почётче и дуги исхода.
Справа и слева, с обеих сторон
крыши с обводкой, подсветка вдоль крон.
Ряд кипарисов, оплавленный солнцем.
Поздно мне стать этих мест барбизонцем.
Камешек бросишь с горы не попад —
точка вспорхнёт и сорвётся в закат.

МЕЖДУ ТЕРАКТАМИ

Я знаю, чего я хочу: на автобус успеть.
Я знаю, чего я боюсь: полчаса потерять
в той жизни, от коей осталась неполная треть,
а может, всего шаг-другой и одна только пядь.

Я знаю благое незнание, — хотелось бы впредь,
задавшись вопросом, ответ не расслышать опять.
Вконец ли себя исчерпает закатная медь,
а может, она не успеет себя исчерпать?

Чёт-нечет. Орёл или решка. Добро или зло.
На то и случайность, — настигнув, застанет врасплох.
Как многим, на улицах этих мне дважды везло.
И тот, кто считает, пусть не застревает на трёх.

* * *

Во что бы то ни стало, уберечь.
Уже в дверях, пока ещё возможно,
произнести скороговоркой речь,
сводимую к словам «будь осторожна»,

«будь осмотрителен». И тут себе
отдать отчёт в конечном превосходстве
судьбы. Кто может диктовать судьбе,
пытаясь настоять на благородстве.

В ОЖИДАНИИ АВТОБУСА

Две старушки говорят на идиш.
У одной сквозь идиш слышен англиш,
может быть, венгерский — у другой.
Мельком замечаешь их обновки,
вкус их европейский. К остановке
не спешит автобус городской.

Отрешаясь понемногу, видишь
говоривших, вроде них, на идиш
бабушку, родителей, родню.
Дожили до лет не самых ветхих.
Скудный по определенью, век их
числил нормой жёсткую стерню.

Случай их меж тем — не худший случай.
Мой — тем боле: подрастай и слушай
двуязычье, или то, как шьёт
швейная машинка мамы, — долго
скачет на одной ноге иголка.
Обучайся счёту, втихомолку
слыша каплям валерьянки счёт,

или петлям вязки. В интервале —
*степь да степь кругом и нор мир алэ**, —

* Только все мы (*идиш*).

то и это ловишь на лету.
А переверни вперёд страничку —
вдруг заметишь мамину привычку
говорить, неся ладонь ко рту.

Худо-бедно, всё же — безопасность.
В стороне от гласности, безгласность,
мало внемля тем, кто наверху,
так в муку и не перемололась.
Это мне случилось — в полный голос,
потому что шёпот на слуху.

Никогда, увы, до здешних улиц
родичи мои не дотянулись
и ни разу, оплошав слегка,
с горсткой слов на уличном иврите
не сказали вместо *извините*,
глядя независимо, *слиха*^{*}.

Предзакатны — время и окрестность.
Скрашена, как должно, неизвестность
возвращением к себе домой.
Две старушки поднялись в автобус,
едущий через Рамот на Скопус^{**}.
И уже неподалёку — мой.

* Извини (*иврит*).

** Районы Иерусалима.

РОДСТВО

Мише

Свет середины марта. Первые дни капли...
Солнц, непогод и лун много тому назад
мне — восемь лет, тебе — не более недели,
крошечный братик мой, маленький мой брат.

— На руки взять не вздумай, не подходи близко. —
Можно понять маму: простыла дочь-худоба.
Мальчик не спит, — морщится, не издавая писка.
"Надо быть повнимательней", — решает над ним судьба.

Старшую с младшим вырастят. Греет компресс ватой;
на ночь сухую малину заваривают в кипятке.
Живы-здоровы родители, — молоды на 9-ой
линии островного города на реке.

...Разница во времени. Страны двух полушарий.
Иррациональность яви пережитой, — при том,
что, если всё же пишется общий к нам комментарий,
то никакой не латиницей, — скрижалевым письмом.

Трудно его читать: буквы, порою мало
чем отличаясь, сомкнуты тесной для них строкой.
Некому, — говорю, — помнить тебя с начала,
кроме как мне, которую уже не вспомнят такой.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Муж дочери единственной моей
похож на молодого Модильяни.
Её саму легко себе представить
нарядной и встревоженной Эстер.
А их трёхлетний первенец, мой внук,
напоминает Маленького Принца, —
без королевской крови обошлось.

И силюсь я услышанною быть.
Сидите тихо, злые силы мира.
Не смей подняться, ненависть земная.

КОРАБЛИК

*Лиаду Вайзману —
когда подрастёт*

В одной из маленьких квартир,
прогревшихся на зное,
сломал ребёнок сувенир —
судёнышко морское.

Упали тросы, мачта, флаг.
Помялся парус тканый.
Но — «Made in Denmark». Этот факт,
по сути, — знак охранный.

Потомству — баюшки-баю.
А бабушкино место
у лампы. Помощь кораблю
ей внове, если честно.

Но вместо навыка чутьё,
ночных минут звучанье.
И вот сквозь бдение её, —
так сны могли бы, — к ней в жильё
являются датчане.

Нащупав сходу путь извне
без карт и без пунктира,
ждёт срока гавань в глубине
в единственной из всех стране,
презревшей злобу мира.

Сколь твёрд король *, когда в роду
не водится злодеев.
В её младенческом году
надел он жёлтую звезду **,
чтоб защитить евреев.

До края северных морей,
чуть ветры дуют дольше,
клубится в тучах дым смертей
со стороны концлагерей
Германии и Польши.

В стоп-кадрах несколько секунд
спасенья: шлюпки, кронверк,
пролив с названием Эресунд ***
и та, что шепчет *зайд гезунд* ****
оборотясь на Кронборг *****.

Глядишь, к двум ночи на часах
придут благие вести.
Ремонт, возможно, и не ах,
но мачта вновь при парусах
и датский флаг на месте.

* Кристиан X (1870 – 1947), король Дании.

** Замечательная легенда.

*** Пролив между Данией и Швецией.

**** Будьте здоровы (*идиш*).

***** Старинный замок (то же, что Эльсинор).

* * *

Иные здесь не приживутся. Им
географические карты в руки.
А у других тут почва, дети, внуки.
И пыль столбом. И отдалённый дым.
Покой не предусмотрен. Дефицит
в просторах. Но велик пейзаж окрестный.
Но только здесь разбудят вас оркестры
потомков птиц, будивших Шуламит*.

* Суламифь.

УТРО В ИЕРУСАЛИМЕ

Заметно убывает мгла.
Урчит на кухне холодильник.
Звонит, проклюнувшись, будильник:
«Тум-ба-ла-ла! Тум-ба-ла-ла!»

Пора корпеть и колесить.
А ветры мира в эту пору
летят на Храмовую гору —
благословения просить.

ГЛОРИЯ АЗАРИЯ

Словосочетанием, годным для гербария,
звали эту женщину: Глория Азария.
Так звучало-значилось в прорезях конвертных
год спустя, не менее, на счетах посмертных.

Служба скорой помощи, крупные компании
душу её числили в должниках, как ранее.
Но её пособие, воду и мараки*
больше не делили с ней кошки да собаки.

Я о ней не ведала. Я её не видела.
Но о ней говорено: мухи не обидела.
И не всуе сказано, что жила не сварой,
а ушла без времени, умерла не старой.

Заново побелены стены с потолками.
Новые настелены плитки под ногами.
Краской водостойкой и цементной пылью
быстро можно справиться с неказистой быльёю.

Так что на жилплощади свежая история.
Тут мы и покрутимся, как при жизни Глория.

* Супы (иврит).

На ходу присмотришься — вдруг уколет жалость:
только имя редкое от неё осталось.

Но бытует аура: дали законные,
крыши черепичные, линии наклонные,
беглые мгновения, огонёк домашний,
тёмный час нестрашный — нынешний, вчерашний.

ЛОДЖИЯ

Для мастерской здесь тесно. Но окно
простором переполнено. Оно,
округу измеряя в километрах,
читит равновесие и заодно,
вникая в труд, вовнутрь обращено.

Стол у стены наружной. А спиной
художник ощущает мир иной,
до коего не больше полуметра.
И вот, как на весах, вопрос двойной:
«С трудом я слажу, или он со мной?»

Тревога не беспочвенна: успеть
осуществить полдела, или треть,
вполне владея мастерством, обидно.
Иллюзий мало: как ни посмотреть,
разменяв возраст золотой на медь.

Ну, что ж, — до туч с дождём наперевес
и впрямь, выходит, времени в обрез.
Ещё одной попытки нет в запасе.
Пустырь. Дуга шоссе. Размах небес.
Нагорный иерусалимский лес.
День, заглянув, уходит восвояси.

ЗАКАТ

С шоссе вдоль иерусалимского леса,
с уступа горы, как с галёрки,
мы смотрим туда, где играет пьеса,
ярчайшая без оговорки.

Старинная пара — ты зритель, я зритель,
условные кто-то и некто,
но это для нас господин осветитель
дорвался до светоэффекта.

Подобен шестёрке коней колесницы
победно светящейся Славы,
там перистый веер, как имя, святится
над выбросом огненной лавы.

И у горизонта, где солнце всё ниже,
оплавившись, горы прогнулись.
Ни Рерих, ни Рокуэлл Кент, ни Куинджи
до этого не дотянулись.

Часть зрения — вот за погляд наша плата.
Потом вдруг попросят из зала.
Но если досмотрим остаток заката,
то он будет стоять начала.

Ни самоповтора ему, ни поблажки, —
лишь меркнувшие постепенно
прорывы огня, цветовой растяжки
до мига ухода со сцены.

И, выдохнув *браво*, мы к выходу двинем.
Но даже тогда нас уважат, —
едва обернёмся, на звёздчато-синем
ещё нам и ответ покажут.

ПЕСЕНКА МАРИОНЕТКИ

Вновь сердце обрывается
в подёргиванье ниточном.
А то, что не сбывается,
рискует стать несбыточным.

Но к площади Бесправия
подкрался случай-путаник.
Над ширмою заглавия
не тронь меня, мой кукольник.

Твоих шарнирных выскочек
раскручено бесчисленно.
А я сама, без ниточек,
теперь танцую мысленно.

Бедовая? Нисколечко.
К развязке действие начато,
но вытанцевать кое-что
мне всё же предназначено.

Отныне я не пленница
и даже не попутчица.
Пусть лучше не успеется,
не на все сто получится.

Зато, чураясь лёгкости
и не прельстясь обманкою,
не перейму неловкости
вертеться самозванкою.

КРУГОВОРОТ ЖЕЛАНИЙ

Быть почти что имяреком,
сдержанной натурой.
Стать публичным человеком,
знаковой фигурой.

К сильным мира прикоснуться.
Вспомнить о начале.
И калачиком свернуться,
чтоб не замечали.

ХАРАКТЕР

Не отправить спать вовремя.
Не отучить улыбаться некстати.
Не убедить знать себе цену.
Не заставить воскликнуть,

якобы в спешке:

"Ой, пора убегать!",
когда перегрев телефонной трубки
явно достиг тридцати шести...

А чего стоят бывшие шансы
(ясное дело, упущенные),
и во что обошлись невысказанные мысли
(да-да, коридорные, — точнее не скажешь)?

Мало того, сколько можно
быть прямой, как линейка?
угловатой,
как многоугольник?
Присмотрелась бы, детка, к лекалу.

Но всё бесполезно.
Поднималась ли в гору,
спускается ли в распадок —
сладу нет с неразумной собой.

ИСХОДЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

Э. Палвановой

Тьма забот у знаков препинанья.
Противопоказан им покой.
Без контроля или понуканья
тихие умельцы под рукой.

Здрасьте вам, команда занятая!
Двоеточье; точка с запятой;
точка плюс тире и запятая,
машущие рожице кривой;

половинки-парочки — две скобки,
две кавычки, — тишь да благодать
(те и эти, в общем-то, не робки
и умеют речь обособлять);

далее, лобастый знак вопроса
и другой, что рвется восклицать, —
кто ещё сумел бы безголосо
порознь и дуэтом выступать.

Наконец, ваш выход, многоточье!
Пауза. И нам — кому куда:
в междуречье, или в междустрочье, —
есть, о чём подумать, господа.

Я сторонник знаков-заморочек
и препон, без коих пропадёшь:
ведь без их старинных проволочек
строфы превращаются в бубнёж.

Уделю им сколько-то вниманья,
потесню причины унывать —
безответным знакам препинанья
тоже надо жить и выживать.

БЕЗ ИМИДЖА

Фотокамерой меня снимешь
цифровой, — «Зенит» забыт прочно.
Поздновато заводить имидж,
цепкий облик угадав точно.

Было рано, а теперь — звёздно.
Облачась не в чёрный, так в белый,
в бубен славы колотить поздно.
Но зато полным-полно дела.

Быть кумиром не притязаю.
На ветрах и в тесноте комнат
те, кто знают, те и так знают,
а кто помнит, тот и так помнит.

СОВПАДЕНИЯ

Были, — и есть, — мои полные тёзки.
От приветствия тем, кто по эту сторону,
по ту пойдут отголоски.
Пусть и вправду хотя бы гул
вдогонку, вослед —
наперекор тому, что резона нет.

Девочке из южного города
исполнилось только девять.
Понимала, что старше не станет,
и нельзя ничего сделать.
Спустя годы, мать её вздрагивает, слыша те
же самые имя с фамилией,
что на могильной плите.

Тут, после слов, за которыми,
хочешь не хочешь, — яма,
стародавнее *на долготье тебе*
сказала бы мне мама.
Но время ушло вместе с ней.
И я говорю сама себе: милая,
не такая уж редкость —
имя твоё и фамилия.

Слуху же о моей смерти
я обязана угасавшему дню,

холоду с побережья,
пересечению стрит с авеню,
где, сбиваясь на *ой*, *простите*,
удивилась женщина средних лет
мне, похороненной заодно с тёзкой
и возвращённой на этот свет.

Вот и пишу, припозднившись,

опровержение:

подтверждаю своё — в живых — нахождение,
израильский адрес, три рода занятий,
единую, тем не менее, суть свою.
Как заметил бы, констатируя факт, нотариус,
я пока что при сём присутствую.

ПЕРЕД КОМПЬЮТЕРОМ

Памяти Деи Триер Мёрк

Засветится экран — на вечную разлуку.
Забудешь — всё спешить, покуда не помре...
Беспомощно застыв, уткнулась мышка в руку.
Две даты. И вся жизнь — меж них в одном тире.

Сквозь линии границ глухого интервала
ни звука не дошло из отдалённых лет.
Когда б не Интернет, и знать бы я не знала.
Всё б числила в живых, когда б не Интернет.

Когда-нибудь потом, почти забившись в угол,
сближая времена, в родимый полусон
всех вместе соберу — кто был и есть, кто убыл, —
конечных сроков нет, простор не оголён.

ПРОСЬБА

Лёгкой жизни я просил у Бога.
Лёгкой смерти надо бы просить.
И. Тхоржевский

В лёгкой жизни вряд ли много толка.
Смерть во сне легка, да не по мне.
Вышло так, что планы зрели долго,
но зато и дороги вдвойне.

Убывает время безнадёжно.
Молчалив, как идол, календарь.
Попросить бы Бога, если можно,
растянуть ноябрь, декабрь, январь.

* * *

Не призраки, а признаки старения,
не вздумайте войти в стихотворение.
Спускайтесь вниз, а мне наверх по лесенке
без отклонений в нормативной лексике.

Сквозняк уносит жалобы дорожные.
И не нужны движенья осторожные.
И линии судьбы не все прочитаны,
а верхние ступени не сосчитаны.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Это всё ещё я.
«С возвращением из небытия», —
мог сказать бы мне кто-нибудь встречный.
Не на полном ходу
я себя из починки веду,
не изведав поломки конечной.

Есть срок годности нам.
А истекших времен черепкам
есть их прежнее место в кувшине:
мгле и мору назло
можно древнее склеить стекло
для бессмертья в музейной витрине.

Там же, где я была,
только первоначальная мгла —
тьма над бездною до созиданья.
Не в раю, не в аду,
те края не имеют в виду
ни луча вдалеке, ни сознанья.

Это в жизни мы мчим
сквозь туннель и по свету за ним, —
повезло на побывку покуда.
Так что — здесь и теперь,
перед тем, как закроется дверь.
И, увы, без гарантий на чудо.

* * *

Отстранив года и числа,
не усматривая смысла
ускорять износ,
хорошо бы научиться
к этой жизни относиться
не вполне всерьёз.

Притомясь, ослабить вожжи,
не считать, кто сколько прожил,
много ли успел;
наконец, сменив повадки,
меньше печься об остатке
планов или дел.

Не ловить судьбу на слове,
не гадать, что уготовил
вечный небосклон.
А ещё бы научиться
проще к смерти относиться:
был — да вышел вон.

ДАННОСТЬ

Жить недолго — до смерти обидно.
С будущим, что кануло безвидно,
новое мгновенье не срослось.
Что могло бы сбыться, не сбылось.

Долго жить хотелось бы. Но трудно
поменять места, где многолюдно,
на пустырь, где близких — никого,
самых дорогих — ни одного.

А у тех, кто цел, свои заботы.
Им неважно, кем ты был и кто ты
есть, и что ты мог, а что — не смог.
Но не нами установлен срок.

Ну, а если, возымеv причину,
кончить жизнь по своему почину,
в тёмный слух упрётся реноме:
был такой-то не в своём уме.

ХАМД УЛЭЛА*

Написался вдруг с лёгкостью стих о длине
и о краткости жизни. Притом не вчерне —
без помарок почти, хоть во мне велико
недоверье к тому, что даётся легко.

А потом я с трудом оставляла труды.
Предстояло не менее часа езды
между двух городов, так что стоило днём
сесть в автобус и вникнуть в простор за окном.

Вот бок о бок попутчица. Очень юна,
в бирюзовое с чёрным одета она.
Непроглядная ночь, ранний свет голубой,
рай и ад без зазора сошлись меж собой.

У неё в ноутбуке арабская вязь.
У меня на уме — как бы не взорвалась.
Хорошо, если вовсе на ней нет греха.
Если вспышка стиха — только вспышка стиха.

Выходила я раньше. И все-то дела.
Пусть простит, что сказала ей: хамд Улэла —
слава Богу, — с учётом того, что на миг
я смягчила ивритом арабский язык.

* Слава Богу (*арабск.*).

КАТРЕН

Пророчествам веков, зачитанным до дыр,
старенье нипочём: поныне бьют в десятку.
Из-под морского дна, с изнанки тверди, — мир
трясётся изнутри, как биржа в лихорадку.

Свидетель новых дней! Покуда то да сё,
виденья, воплотясь, обстали и нависли.
Уже и не сказать: *Бог сохраняет всё*.
Не всё. Ну, разве что, в каком-то высшем смысле.

Рискнём предположить: в провинции Прованс,
в том городке, куда заглянем незаметно,
когда-то прозвучал спасительный, как шанс,
ещё один катрен, утраченный бесследно.

Он твёрдо обещал покой и благодать
на предстоящий год. Случись стоять у края —
успеешь завещать, отчёт и долг отдать
и, осознав уход, проститься, засыпая.

В ОДИНОЧКУ

Во сне привиделся вокзал.
Там на табло, где дата,
мелькало: поздно, опоздал,
поздненько, поздновато.

Отрезаны — ломоть к ломтю —
вагончики, — в том смысле,
что поезда твои — тю-тю,
чуть сумерки нависли.

Ценя свидетельство, пиши
пропало в строчках сжатых, —
нет пассажиров ни души
и нету провожатых.

Ты жил да был. Ты брать привык
по-спринтерски дорожку.
И вот-те на: в последний миг
не вспрыгнуть на подножку.

Не мчать реке наперерез
ни городской, ни сельской.
Лишь задувает под навес
сквозняк, и впрямь вселенский.

Зато, окрепнув на заре,
дул явно непривычный,
перронный ветер на дворе
окраины столичной.

И цвёл миндаль, терпя в свой срок
порывы и удары,
похоже, так же одинок,
как пассажир без пары.

ВООБРАЖАЕМЫЕ ПЕРЕВОДЫ

* * *

Нет ни того, кто меня ревновал,
ни другого, к кому ревновал он.
Много чего улеглось —
далеко не вчера это было.
Но долговечней, чем сильный загар,
обогретость любовью:
вроде бы осень, а волосы с блеском,
в глазах ожиданье и кожа упруга.
Пусть зеркала, сговорившись,
талдычат своё, на ночь глядя.

* * *

Свет упадёт на траву —
Боже великий, живу.
Тень упадёт на дорогу —
Боже великий, живу.

* * *

Ни золотой каёмочки на блюде,
ни феи, ни сокровищ из ларца.
Но сызмальства готовность улыбнуться
не оставляет черт её лица.

На всё про всё — улыбчивость в беседе,
хоть ясно ей — улыбки не в чести.
Ах, неспроста предпочитают леди
достоинство и сдержанность блюсти.

Сочтут за слабость — станешь уязвима;
за поиск благ — и вовсе не дыши.
А правда в том, что жизнь несправима,
а теплота — от полноты души.

Улыбчивость даётся от природы,
и тут уж ни при чём судьба и годы.

ЗА ШИТЬЁМ

Блестит железный колпачок —
напёрсток, а не перстенёк,
достался мне в наследство.
Его я помню с детства.

Случилось так, что впору он, —
и снова отдаёт поклон
на безымянном пальце
игле — всё в том же танце.

Он на руке один как перст.
И, если шить вдруг надоест,
куплю, пожалуй, утром
колечко с перламутром.

Оно с напёрстком и с иглой
под вечер втянется в шальной
любовный треугольник, —
в нём каждый — чувств невольник.

Что пропадать им без прикрас?
И вот куплю я как-то раз
на денежки со свистом
колечко с аметистом.

У парных чисел — свой закон:
пусть треугольник выйдет вон!
И до поры, как здасьте,
попарны будут страсти.

И, кстати, ясно наперёд:
до бриллиантов не дойдёт.

Их только роскошь дарит,
но блеск чрезмерный старит.

Придёт черёд, — само собой,
оставлю дочке дорогой
наследство без утечки —
напёрсток и колечки.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Ещё не роятся потёмки, а всё-таки вечер —
не тот, что один на двоих.
Железная леди не носит фамилию Тэтчер.
Хватает фамилий других.

На ней ожерелье и серьги из ляпис-лазури,
тогда как в груди колотье.
Но вы не заметите ни бурелома, ни бури,
случись вам взглянуть на неё.

Она, вопреки безысходности, выпрямит спину
и чувства построит в каре.
И, как бы то ни было, держит хорошую мину
при небезопасной игре.

Пугая злосчастьем, судьба её крутит и вертит,
стремит по спирали годов.

Железная леди желает естественной смерти
без тёмных на шее следов.

Сказала бы толком, в чём дело.

Но кто ей поверит?

И что посторонним видней?

Железная леди молчит о железной гевеет.

Зачем вам вся правда о ней?..

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Стихи переводить — как танцевать вдвоём.
Ведёт оригинал, а версия ведома.
Но выбрала она. Остановясь на нём,
под дудочку его кружит, едва знакома, —
ей нравится в пространстве не своём
и не в своей тарелке быть, как дома.

Он старше, чем она. Полвека на весах —
их разность. Но молва, подробно, или вкратце,
не осуждает их; не мается в кустах,
бездействие кляня сквозь зубы, папарацци.
Укромна страсть — с несходством в голосах,
как на плечо, на точность опираться.

И — сладилось: в числе новейших переправ
наводится мосток меж языком скрижалей
и речью двух столиц, державою застав,
классических томов, павлопосадских шалей,
не изменив размера, не отняв
ни сути вкупе с чувством, ни деталей.

А ты, переводя, вникаешь в мир иной,
впотьмах свиваешь нить и к свету жмёшься пряхой,
то чувствуя себя, как в роли возрастной,
немолодой, зато востребованной свахой,
а то вдруг текст озвучиваешь птахой,
как над гнездом, над книжкой записной.

СТАРИННЫЙ МОТИВ

Я вам сложу коротенький стишок
в тональности, что бытовала некогда.
Вам недосуг, вам длинный слушать некогда,
но, расставаясь, пьют на посошок.

Вы, сударь мой, на ярмарку пока.
А я теперь, сказать по правде, с ярмарки.
И всё ж не примелькались виды яркие,
и тянет вдаль, да скатерть коротка.

Вас ожидает множество затей.
Желаю преуспеть. И, тем не менее,
Имеет смысл ценить стихосложение,
особенно в дороге из гостей.

СКВОЗНОЙ ГУЛ

ИЗ РАЗГОВОРА В ГОСТЯХ

"Сколько книг прочтено, — говорит, — и каких поразительных! Дело, конечно, не в сумме, а в попутной возможности поиска в них чьей-нибудь сверхдогадки, сверкнувшей не всеу.

Мог ведь кто-нибудь как бы нащупать плечо рычажка, вдруг источник начал различая.
Ан нет: холодно. Ну, чуть теплей. Горячо?
До сих пор не обжётся...
Нет, я не о чае".

* * *

Слышится на расстоянии голос живой.
Стих как бы выдохнут, — запоминанье несложно.
Там и начнёшь, где смолкает предшественник твой,
но только в силу того, что молчать невозможно.

Сколько времён между вами, почти всё равно, —
взаимосвязь воспоследует без проволоочки.
Стих, или песенка, — если хотите, звено
той ли, другой — потаённой ли, зримой цепочки.

МЕЖДУСТИШЬЕ

Не пишется? Ну что ж, и без тебя
изведены, как всем известно, горы
бумаги, перьев, шариковых ручек
и тьма внутрикомпьютерных страниц.
А много ль добавляется к тому,
что примиряет душу с этим миром
и заодно тебя с самим собой?

Вот весь остаток жизненной долины.
Куда, к чему теперь-то торопиться,
драть горло, в хвост и в гриву гнать коня?
Оставь неприрученность озаренью,
сквозному гулу, лепету созвучий
и безупречно паузу держи.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Дети скудной тишины,
музины внучата,
никому вы не нужны,
новички-стишата.

С небезоблачной земли
в глушь и сумрак Леты,
может, вовремя ушли
главные поэты.

НА ВОЗДУХЕ

Закат на убыль. Улеглась шумиха.
Молись о том, чтоб не случилось лихо.
Не по канону просьб твоих реченье,
но ловит их небесное свеченье.

Луна раскрыла купол парашютный,
светящийся и несиюминутный.
И звёздочка под ним, как человек.
А у Всевышнего — автоответчик.

И есть предположенье: может стать,
совсем, как ты, он вышел прогуляться.
Пора передохнуть, — ведь не мальчишка.
Пусть держится. Иначе всем нам крышка.

СТРОФЫ С ЦИТАТАМИ

Не любя стихи в размере
баба сеяла горох,
согласись, по крайней мере, —
этот ритм бывал не плох.

Он когда-то на прощанье
прорастал в рысце не зря,
завершая обещаенье:
...и влюблюсь до ноября.

В том же темпе, или чаще,
как случится, так и пей
от покрепче до послаще:
сердцу будет веселей.

И, уснуть напрасно слясь,
спросишь блики на стене:
что ж так тяготы взбесились,
надрывая сердце мне?

А не сдюжит оболочка,
убавляя жар и пыл,
сам себе напомнишь: точка.
Умереть господь судил.

Но на то и стих живучий,
отметающий барьер.
Ах, как ладят смысл и случай,
слух, созвучия, размер!

Жизнь души вроде вещи в себе
и на частную жизнь не похожа.
Всё бы ей о судьбе, о волшбе,
избегая мороза по коже.
Содрогнётся душа — и жива.
Только сердце зайдётся с испугу,
или вдруг заболит голова,
тормозя твои гонки по кругу.

Ни царапин душе, ни обид.
Отстранённость — щадящая мета.
И, уж точно, её не свербит
в ясный вечер, что песенка спета.
Ей стезя, а тебе борозда.
Ей бальзам, а не россыпь таблеток.
Всё, что есть у неё, — навсегда,
без прощальной главы напоследок.

Замороженный и деловой,
ты не тот, кто её отрицает,
потому что поверхностный слой
видишь ты, а она проникает
в сердцевину, потёмки, миры,
многозвёздно-туманную млечность.
И её не изъять из игры
никому, — ни при чём быстротечность.

А тебе — за порог, на порог —
впопыхах, или напропалую.
Уложиться в неведомый срок
ты спешишь, а она — ни в какую.
Ей сторон меж оград и ветвей
без числа, а тебе лишь четыре.
Но без частных жизни твоей
и она не жалец в этом мире.

НАТЮРМОРТ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ*

Стираю пыль. Всю жизнь стираю пыль,
хоть с нею солидарны новь и былъ,
хоть я — от сих до сих, а пыль бессрочна,
и победит она, уж это точно,

меня с моим стараньем. Между тем
давным-давно с ней ладил без проблем
художник, оценив её не сдуру
и глядя на неё как на натуру.

Он был с тончайшей кисточкой на ты.
Воспроизвёл он пыльные листы,
под ними том, — Овидий ли, Проперций, —
и никаких, избави бог, концепций,

ни сквозняка, ни времени, ни миль.
Творил он след руки, задевшей пыль,
на дальней лютне и на ближней лютне,
пока в потёмки не скользили будни.

О, этот холст! Я видела его.
Забыв, что есть на свете мастерство,
моя рука взметнулась, но повисла
в невольном жесте, не имевшем смысла.

* Бартоломео Беттеро (1639 – 1687), итальянский живописец. Израильский музей, Иерусалим.

Мастера Возрождения! От холста до холста
вы писали, что знали, — вам родные места:
италийское небо, Апеннины вдали,
а не зной и не вечность израильской земли.

На библейских сюжетах из-под ваших кистей
золотистая нега среди бурь и страстей,
ренессансные вкусы, ренессансная быль,
а не ближней пустыни рыжеватая пыль.

Сплошь не в тех интерьерах, не на тех площадях
флорентийцы, веронцы в иудейских ролях,
и, хотя не расслышать, кто о чём говорит,
в их устах — переводы, а источник — иврит.

Мастерство дольше века. Не берёт его тьма.
Вас держали заказы, конкуренты, чума.
А всего-то, ей-богу, паруса накренить
и одно только море раз-другой переплыть.

ГОЙЯ. АВТОПОРТРЕТ

Всё, как есть, — одно и другое
самому себе, неприкрыто,
молча глядя, говорит Гойя
где-то там, в пределах Мадрида.

Укреплён зеркальный осколок.
Жаль, что день световой краток.
Масло, холст сорок шесть на сорок.
Скоро семьдесят — и остаток.

Всё его при нём. А химеры
не прошли временное сито.
Но талант или труд без меры
от невзгод ему не защита.

Эмигрантская ждёт морока.
Это лучше, чем ждать расправы.
И умрёт он в Бордо — до срока
отдалённой — всемирной — славы.

Не потерпит живопись краха.
Да и он бровей не насупит.
Краше всех была его маха.
Но молочница — не уступит.

Не пройдёт и безумье мира —
роковая тщета бунтарства
перед выстрелом кирасира, —
ведь от этого нет лекарства.

...Часть пространственного отсека.
За стеной беспокойный город.
Душно так, что почти два века
нараспашку его ворот.

ВОСТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ

Памяти Э. Еропкиной

Сменил старинный жанр свою природу.
Наглядно закреплённую свободу
теперь уже никто не отберёт.
От рук отбившись, он пустился сходу
одушевлять, а не наоборот.

Предметы не мертвы ни в коем разе.
Их родственные, дружеские связи
просматриваются, как никогда.
И, ежели кто понимает, в вазе
живая, а не мёртвая вода.

Само собой, надеется на вырост
от среза до макушки каждый ирис
(сглаз ни при чём, но всё равно — молчок).
Поштучные, — ни одного на выброс,
пуст, или полон мусорный бачок.

Ах, рюмочка! Ей лет её не дашь ты.
Она, так и не продана однажды,
сквозь быт эвакуационных дней
была насыщенной подслащённой жажды,
важней лекарства, голода главней.

Где был, там даль. И если поостыла
оранжевая солнечная сила,
теснимая за тучу в сизый дым,
нет ничего закатней апельсина
с горизонтальной плоскостью под ним.

Их собрала хранимая от риска
танцовщица, певунья, одалиска
лишь в силу притягательности и
аккордов, слышных только тем, кто близко,
в столь ярком, сколь и хрупком бытии.

И вот их держит столик из бамбука,
чьи налицо опека и порука,
в окружность уместив стеклянный круг, —
приемлет моду старая наука
над пламенем сгибать в дугу бамбук.

И, дело не последнее, — решётка
окна. Её квадраты делят чётко
часть дома с черепицей плюс пейзаж.
Не фон, а нечто сверх него: находка
не на заметку, так на карандаш.

Ещё светло в семь или в полвосьмого,
но день к концу, и реплика готова
под занавес, хоть не среди кулис, —
пусть музыка опережает слово,
есть вариант: вначале был эскиз.

ЖИВОПИСЦЫ ПРОШЛОГО

Сказать: — Когда бы... — и, не продолжая,
начать смотреть сквозь млечную туманность
в расплывчатую отправную точку
(иных ведь нет: все точки — отправные);
языковые превозмочь барьеры
(староголландский, староитальянский,
или столетней давности французский)
с единственною целью: известить
владельцев мастерства и озарений,
до дна их дней держателей палитр
(медовоцветных с примесью каштана),
властителей лазури, умбры, охры,
сиены жжёной и волконскоита
об участи счастливой их имён,
творений их, никем не превзойдённых,
и, заодно, о беспредельных ценах
на них, о похищениях, о подделках.
Пришлось бы замолчать на полуслове.
Им был бы не под силу переход
между обобранностью и триумфом.
И, наспех растворяясь в полутьме,
они вернулись бы в автопортреты,
в тома Вазари, в жизнеописанья,
в товарный глянец воспроизведений
и в Интернет, с поправкою на время.

А кто-то вдруг сумел бы оглянуться —
не преминул бы, с вечностью в остатке,
гудоновским Вольтером усмехнуться.
Выносливый. И психика в порядке.

ПОЗДНЯЯ РУКОПИСЬ

От недосыпа глаза режет.
Косноязычье не превозмочь.
Но виртуальная сила держит
возле компьютера в ночь-полночь.

Может сосуд — башковит — лопнуть:
горе, как сказано, от ума.
Не запахнуться. Дверь не захлопнуть.
Скрипнув, захлопнется и сама.

ЦИКАДА

Почти электронный стрекочущий звук —
подобный дарил на ночь глядя юг.
Цикады — та с этой — похожи, и всё же
поют не одно и то же.

Южней на два моря, здесь воздух иной, —
тревожней огни, затяжнее зной;
цикада бессонней — и определённо
не та, что у Анакреона.

Но оде «К цикаде» достался масштаб,
о чём и свидетельствует хотя б
тот факт, что, корпя среди снежных заносов,
её перевёл Ломоносов.

А здешняя кроха безвестно живёт:
сама себе текст, сама — перевод,
сама — звукозапись и, это же надо,
цикада сама — цитата.

И всё это в целом — одна сторона.
Что слышно у нас? Цикада слышна:
к полуночи, за полночь стрекот в разгаре, —
сегодня она в ударе.

Возможно, что вклинится меж новостей
пристрелка цикадных очередей
и то, как одной из них вроде пунктира
прошита насквозь квартира.

В ней мало шагов от окна до окна.
Зато вдруг проклюнулась глубина.
Там бросили жребий. Там выбрана дата.
Осада. Масада* . Цикада.

* Крепость возле Мёртвого моря. В конце восстания Иудеи против Рима защитники Масады покончили с собой.

* * *

Э. Файнгершу

Ещё не вечер. Вьётся хмель.
Сползают камни вниз со склона.
Летит сторонник рифмы шмель —
гудя, его виолончель
сбивается на гул тромбона.

И что-то кроме сквозняка
вызванивает колокольцем.
И, если вызвонит, строка,
ничем не выдав тайника,
проворней ящери под солнцем.





ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЕЩЁ НЕМНОГО ОТ АВТОРА

Вопреки тому, что до сих пор мне вполне хватало короткой издательской аннотации, доносившей читателю справку об авторе, на этот раз всё пошло иначе. Две даты — 1972 и 2012 (годы выхода первой книги и этой, шестой), вдруг оказавшиеся рядом, отстоят во времени друг от друга ровно на сорок лет, что побудило меня написать предисловие и уравновесить его подобием послесловия.

Написанные (продиктованные, случившиеся и как угодно ещё появившиеся на свет) стихи в силу самой их природы ни в коем случае не безадресны. Дело в том, что они изначально надеются быть услышанными или прочтёнными. Если это происходит время от времени — их и твоё счастье: возникло пересечение, высклились искры, и ты узнаёшь об этом.

Сохранились не все отклики, их было больше. Но и эти, поныне пребывающие под рукой, всё ещё доносят те самые добрые слова, что и кошке приятны, и даже высокие оценки, в которых сквозит стремление придать уверенности автору, одновременно указывая на огрехи и делая кое-какие предостережения, — помнится, не сплошь безропотно принимавшиеся к сведению. Как бы то ни было, больше всего радовали и были бесценны подтверждения некоторых моих внутренних ощущений, которые, равно как проявления интуиции, невозможно поверить алгеброй.

За минувшие десятилетия литературный обиход претерпел необратимые изменения. Более того, он вымирает. Телефонные звонки с пересказом ещё не устоявшихся, зато свежих впечатлений о прочтённом сменились беглыми разговорами по мо-

бильному телефону, а затем и вовсе переместились на скайп — с поглядыванием на часы, что в углу компьютерного экрана. Сбивающиеся наискось строки, иногда зачёркивания ради точности словоупотребления постепенно свелись к механически-телеграфной электронной почте. Удовольствуемся её преимуществами!..

Я выбрала для частичного опубликования в этой книге написанные от руки, напечатанные на пишущих машинках или набранные в типографиях отзывы на мои стихи, не руководствуясь при этом желанием позднего самоутверждения и целями запоздалой саморекламы, а лишь единственно в знак благодарности всем тем, кому в разное время захотелось отозваться. К великому сожалению, многих уже нет. Кто-то — далеко. Или, в итоге ряда совпадений, — вблизи, в пределах досягаемости.

ИЗ ОТКЛИКОВ И РЕЦЕНЗИЙ*

...Книжка, как мне кажется, получилась интересная — как я и предполагал в своё время (впрочем, здесь и пророком быть не надо — по рукописи всё было уже ясно).

Поздравляю Вас с успехом. И желаю Вам скорейшей второй книжки...

Вадим Шефнер, 2.02.1973

...Вы умеете колдовать — превращать обыденное в золото, — а это есть истинное свойство поэзии и назначение поэта во веки веков. Состояние души — вот "главный герой" Вашей лирики,

* Все особенности написания сохранены.

человек в его движении, изменчивости настроений, эта подвижность отклика на окружающий мир.

Не знаю, откуда поведут Вашу "поэтическую генеалогию" умудрённые критики, но думаю, что им будет нелегко <...>. М. б., Вы <...> начинаете с той конечной точки, о которой писал Б. Пастернак: "Нельзя в конце не впасть, как в ересь, / В неслыханную простоту".

Готова ли у Вас в черновиках вторая книга? Вторая книга — самая ответственная, только она может подтвердить, что богатство души неиссякаемо <...>

Но не беда, если будет и большой перерыв: растёт взыскательность, требовательность к себе. Дебют пленяет читателя свежестью встречи, но добрая встреча порождает ожидания новых открытий. Ценится вино выдержанное, также и в поэзии...

Ольга Фёдоровна Хузе, 4.04.1973

...Ее стихи — не цветастые полотна, а тщательно выполненные, иногда даже виртуозно, графические рисунки, несколько суховатые, но неизменно отличающиеся высокой художественной культурой...

Евгений Осетров, 1973

...Мне кажется, что у Вас врождённый хорошо поставленный голос, что Вы, верно, сразу хорошо писали. Что до техники письма, то мне были не слишком приятны неточные рифмы (одолеваю — накрываю, пороге — немного, справлюсь — август и т. д.). На мой вкус такие рифмы (полурифмы!) приемлемы

только тогда, когда за ними стоят некий художественный принцип, условия стиля.

Вы очень хорошо владеете короткой строкой ("Видится воочью..." и др. стих-ния), это редкое в наши времена качество, — очень ценное! И со строфой хорошо управляетесь.

В Ваших стихах есть уловимый след литературных влияний: это признак молодости — и Вы от влияний этих несомненно избавитесь, если уже не избавились. <...>

Приятно разнообразие стихотворных размеров.

Вообще же — мне сдаётся, что пришла для Вас пора "забирать поглубже", ради расширения пределов, означенных Вашей разработкой темы. Ваш ум проступает в большинстве стихотворений очень определенно, и эта определенность, при очевидном размахе чувства, дает повод предполагать, что Ваши возможности больше, чем Вами отдано в книге темперамента, творческого умения; от Вас ждешь более мощного диктата, чем ощущаемый явно (в книге). Ваша камерность должна стать более симфонической. <...>

Я не хочу пугать Вас с позиций опытности читателя очень немолодого возраста, и позволяю себе писать Вам искренне, потому что верю в Вас и Ваше дарование. <...>

Всё это, б. может, — ворчит брюзга, — и всё обстоит намного лучше, чем можно заключить по этому письму. Верьте в себя, в свои силы, в свою способность к развитию и смело накапливайте силы для нового скачка со ступени на ступень выше — и так без конца и без расслабления. И при этом — больше свободы, меньше скованности и зависимости от ранней литературной выучки. <...>

Я надеюсь, что Вы чувствуете, как книга мне понравилась и простите мне, быть может, ненужные замечания — вряд ли

уместные в письме, в общем — выражающем читательскую благодарность за книгу, исполненную подлинной свежести и прекрасных обещаний...

Арсений Тарковский, 9.12.1973

...Внешний облик мира воспринимается молодым поэтом графически, как строгий и предельно сжатый рисунок, и столь же тонкими и скупыми чертами передаются те или иные минуты душевного состояния <...> — всегда под своим углом зрения, часто совершенно неожиданным. <...>

Есть некая закономерность для стихов Аси Векслер в том, что она — поэт, воспитанный Ленинградом, да к тому же художник по своей профессии. Ее речь как бы упорядочена самим архитектурным обликом города на Неве. Скупость и отчетливость линий стала основой поэтики <...>

Перед нами все же очень молодая книга, в которой, быть может, обещаний несколько больше, чем свершений. Но уже и сейчас есть примеры уверенного обращения со словом, стремления к разумной и содержательной сжатости и вместе с тем и волнующий лиризм.

По ходу чтения хочется цитировать из нее больше, чем позволяют пределы краткого отклика, хотя бы вот такое восьмистишие, в котором трудно было бы что-либо изменить или добавить.

МОЛЬЕР

*Досталась доля так себе:
не поднесла судьба
ни белой лилии в гербе,
ни самого герба.*

*Когда предали прах земле,
переменилась роль.
И жил не он при короле,
а жил при нем король.*

И сжатость мысли, и интонационное движение строфики очень типичны для общей стилистической манеры автора.

Трудно, конечно, заниматься прогнозами и пророчествами, имея перед собой только небольшую книгу до тех пор мало кому известного автора. И все же хочется верить — а для этого есть основания — что небольшим своим сборником Ася Векслер, поэт и художник, достойно начинает свой литературный путь...

Всеволод Рождественский, 1973

...Спасибо за прелестную книжечку! Я проснулся в 6.00 и прочел ее всю. Сейчас 8.00. Темно за окнами, а я сижу на кухне (где я, собственно, всегда работаю), гляжу в окно на заснеженные деревья, и на душе у меня — праздник. <...>

Андрей Лядов, 28.01.1981

...Когда-то, когда вышла Ваша первая книжка, я уже писала Вам о том, что стихи Ваши — близки и нужны мне. Сейчас, прочитав "Поле зрения", я радуюсь, что уже тогда смогла "выловить" их из книжного моря и полюбить. Правда, в этом, в какой-то мере, помог мне незабвенный Всеволод Александрович <...> Но я, при всем уважении к нему, всегда привыкла доверять лишь своему чутью, когда дело касается стихов. И в Вашей книжке "Чистые краски", и в последующих публикациях

я увидела поэта умного, чуткого, честного, а эти качества я ценю прежде всего. И удивительно к Вашим стихам подходит название первой книги Вашей. Действительно, это чистые краски. Радует Ваше видение, умение несколькими штрихами нарисовать предмет, явление. Вот уж подлинно глаз художника! И в новой книге это особенно ощущается.

Я хотела бы назвать стихи, которые мне особенно понравились, но их слишком много для перечисления. <...>

Очень понравилось мне оформление Вами Вашей новой книги. Начиная с обложки, этой строгой арки, через которуюходишь в город поэзии Вашей, с гравюры на обложке и кончая последней гравюрой — всё там такое ленинградское, так гармонично сливается со стихами! В общем, всё Ваше прекрасное двуединство в этой книге проявилось в полной мере...

P. S.

В последние годы много хорошего о Ваших стихах писал мне Г. В. Глёткин, человек с прекрасным литературным вкусом.

Евдокия Ольшанская, 6.03.1981

...Ася Векслер работает в поэзии уже много лет, но выпустила она лишь две книги стихов. Не обладая пробивными способностями, А. Векслер принадлежит к тем взыскательным и требовательным к себе авторам, для которых их дело, т. е. поэзия, важнее внешнего успеха, — легкого пути в литературе она не ищет.

"А наши книги долго в свет выходят", — говорит она в одном из стихотворений <...> Звучит это признание не как

жалоба, — <...>, как уверенность в том, что поэтическое слово, за которое заплачено дорогой ценой большого жизненного, духовного и сердечного опыта, — слово надежное <...>

<...> Опора на два дела, связь поэзии и художественных занятий придают стихам А. Векслер особый ракурс: звучание и зрение, звуковой и зрительный ряд в ее стихах идут рука об руку, дополняя и обогащая друг друга.

Например, в одном из стихотворений рассказано о виде из дачного трехстворчатого окна, но как хорошо и тонко это сделано!

*...Толпа деревьев, яблоневый сад,
дорога между ними да ограда.
Но будто солнце льют и дождь струят
три неба и соседствуют три сада.*

*Ах, створки! Три отдельных череды,
три символа живых десятилетий:
цветенье в первой, во второй плоды
и увяданье медленное в третьей.*

В стихах А. Векслер привлекает интонационная и человеческая искренность, отсутствие фальши. Стихи выдают человека с головой, — так устроена поэзия, в ней не спрячешься: ты весь как на ладони. <...>

Один из лучших разделов в книге — цикл "Восьмистишия". В этих стихах о любви краткость соединилась с силой чувства, энергией выражения.

*Балованный, уверенный,
удачи на краю*

*не знал, кому примеривал
фамилию свою.*

*У ног — пыль подорожника,
у помыслов — тетрадь.
Портрет жены художника
нельзя с меня писать.*

Всякий серьезный поэт опирается на традицию, на достижения предшественников. Есть такой предшественник и у А. Векслер — это Анна Ахматова. В то же время в лучших стихах А. Векслер удается сказать о любви по-своему, а это очень трудно. В так называемой "женской" поэзии это удается далеко не всякой поэтессе.

*Не пепел те письма, не дым,
хоть к этому приговорила.
(Горите огнем голубым!
Так мало хорошего было.)*

*Теперь все в защиту их:
 речь
и чувств благодарная сила.
Еще чего, рвать или жечь.
Так много хорошего было!*

<...> Сегодня, когда в поэзии опять пышным цветом расцвели косноязычие, поэтическая заумь, смысловые темноты, стихи А. Векслер привлекают ясностью поэтического смысла, внятностью и прозрачностью поэтической речи...

Александр Кушнер, 1986

...Я давно не ощущала такого чистого, искреннего соприкосновения с подлинной поэзией.

Ваш камерный оркестр — без меди и фанфар — обладает особым свойством: соприкасаться прямо с душой, заставлять ее вслушиваться и вглядываться во все самое главное, потаенное, драгоценное и дорогое. <...> Если бы я не знала и не видела Вас, все равно Вас можно точно, абсолютно вычислить и угадать по этим стихам...

Евгения Путилова, [1990]

<...> Внедрение конкретных технических деталей искусства изобразительного в словесную ткань стиха для лирики Аси Векслер органично. Так, в ее "Кануне весны" вянувший цветок сравнивается с материалом, над которым работает художник: "...обуглен так, как если б прикипел / китайской тушью к рисовой бумаге". <...>

Ее любимые предметы в стихах — зеркало, окно с многообразными эффектами отражений. Сложная таинственная игра света и тени умножает предметы, одновременно сочетая блеск люстры в комнате и отражение этой люстры за окном.

*...я каждый вечер зажигаю люстру
и продлеваю комнату в окне.*

*..Две люстры темноту одолевают.
Становится двойною тишина,
и разом два стола я накрываю
по ту и эту сторону окна.*

<...> Она как художник органически живет в мире живописи. <...> Поистине, говоря ее же словами, "беспредельен круг / сопоставлений". Призывая к оживлению пейзажа человеческими фигурами, она вспоминает Брейгеля Старшего. Зеленые же листья, защищающие бутон, уподобляет двум зеленым ладоням:

*...их жест двойной, упругий
таков, что из творений мастеров
шагаловский старик зеленорукий
на памяти...*

Или в народной еврейской песенке о нищем портном возникают вдруг строки: "И над шитьем сидит, понур / бедняк с юдовинских гравюр". <...>

"Гармония — свойство души / в лишенном гармонии мире". Эти строки, мелькнувшие еще во второй ее книге — "Поле зрения", легли в основу и развиты в ее программном, завершающем сборник "Зеркальная галерея" цикле "Стиховое дыхание": "Незаменим был стих как способ / восстановления гармонии". <...>

Тамара Хмельницкая, 1990

...Все, кто будет писать о Векслер, скажут наверняка, что ее поэтическое творчество органически связано с ее второй творческой профессией: графикой. В которой она — признанный мастер. Особенно в области искусства оформления книги. Когда речь идет о подобном совмещении — обычно говорят — да при мне и не раз говорили — что "автору свойственно оттого особое, прежде

всего, зрительное ощущение мира". Но, что делать — если именно в стихах Векслер — эта, столь удобная для критика формула — не оправдывается?

Кажется, оставив своей графике мир зримый — Векслер почти отказалась от него в стихах. "Обратив глаза зрачками внутрь"... Стихи Векслер — прежде всего, философская лирика. Где мир осмысляется и определяется Словом. И прежде всего — Словом.

График в стихах поэта ощущается в другом: в графической точности. В твердости — словно прочерченных пером — словесных построений. Мир слова, созданный Векслер, несколько не дублирует ее работу графика. Но "продолжает ее — другими художественными средствами". Но, как бы отвечает ей — или соперничает с ней.

*Держись за жизнь, душа,
в час ночи непроглядный,
как тень и тишина,
как света островок.
Ты выбрала сама
удел свой беспощадный.
Какой огромный труд,
какой короткий срок!*

*За благосклонность муз
вся участь — вот расплата
до нас, и нам, и тем,
кто осчастливлен впредь.
Сгорает ли свеча,
перегорит ли лампа —
тебе еще гореть,
тебе еще гореть...*

Борис Голлер, 1992

...Слегка переиначивая знаменитое высказывание о том, что "стиль — это человек", можно сказать, что, применительно к столь тонкой и сложной материи как стихи, интонация — это человек. <...>

Какая сложная, изысканная ритмика при всём при том, что перед нами, несомненно, классический русский стих! <...>

Интонация "петербургской школы" и есть интонация чувств, восстающих — и смиряемых, бьющихся в гранитные берега предписанного. Интонация стоицизма, восстания против судьбы — и заведомого притяия её.<...>

Но главная тема книги Аси Векслер — тема испытания петербуржцем на разрыв своего привычного стиля и строя жизни...

*Долгие привычки вытесняя,
далеко отсюда в дни другие,
надвигалась дата отъездная —
отправная точка ностальгии.*

*Явствовало: участь эмигранта,
сетуя, перебирать потери.
И перекрывала облик Данта
тень невозвращенца Алигьери...*

В этих восьми строках сконцентрирован весь долгий, и наверняка длящийся до сих пор, сумрачный спор петербуржцев о необходимости и невозможности — отъезда. <...>

"Невозвращенец" — бранная пропагандистская наклейка эпохи Бродского. И совсем недаром возникает в книге диалог судеб Ахматовой и Бродского. Стихотворения "У могилы Анны Ахматовой" и "Посвящение Иосифу Бродскому" расположены рядом, словно окликаая друг друга. <...>

И Ася Векслер пробует на вкус и на цвет это непривычно-загадочное, обозначившее для неё новую реальность слово: русскоязычный... <...>

"Июль 1992 года". Внутреннее напряжение этого стихотворения, помеченного месяцем отъезда, создаётся двумя противоречивыми, как бы взаимоисключающими движениями отторженья — и сохранения. <...> Она не может не оглянуться, чтобы запомнить, унести с собой — Царскосельскую дорогу, верстовые столбы, даже "крашек полустолицы". <...>

И вот уже новые впечатления взламывают строгую петербургскую строку.

Замечательное стихотворение "Ни кола, ни двора. Но зато на дворе...", которое стоило бы процитировать целиком, живёт интонацией обрыва, долгими паузами в середине строки, каждым словом, произносимым наново, заново. <...>

Никуда не делись безукоризненная выправка и выучка петербуржца. <...>

Но "горловину дна, что выгнуто валторной", нельзя ни выдумать, ни вообразить. Её можно только — увидеть. Так русское слово обживает незнакомый мир... И мгновенно узнаваемый иерусалимский пейзаж входит естественным, как дыхание, равноправным участником в драму человеческой жизни.

*Кто почувал свой край,
 тот вверяется зыбкому часу.
Столковаться не может с бедой — не беда.
Вот увозит его
 амбуланс по шоссе на Хадассу.
И не гаснет от ветра звезда.*

*Где-то там на весу
свет колеблемый не разуверен —
не мерцает, а молит: "Помилуй, спаси", —
между тем как внизу
все огни зажигает Эйн-Керем
и скользит по наклонной оси...*

Эти строки могут понять и оценить в полной мере только те, для кого слова "Хадасса" и "Эйн-Керем" рождают совершенно определённые зрительные и смысловые ассоциации — для них Иерусалим превратился уже из Горнего града в место их повседневного существования. <...> Ведь точно так же, как "Летний сад, Фонтанка и Нева" — не слова, а выраженная в названиях сама душа города, и названия "Хадасса" и "Эйн-Керем" в полной мере осмысленны только для того, кто видел хотя бы однажды мчащиеся вверх по извилистой дороге воюющие амбулансы, а внизу — кренившиеся по склону, скользящие вниз дома и монастыри Эйн-Керема...

Александр Любинский, 1998

...Ася Векслер принадлежит к сравнительно небольшой группе литераторов, которые прибыли в Израиль, что называется, не с "пустыми руками"...

По большому счёту, этим людям было, что терять. Но и нашлось, что приобрести. Если прежде можно было с уверенностью причислить её к представителям питерской поэтической школы, то теперь позволительно столь же уверенно называть её израильской поэтессой <...>. Так что, с одной стороны — "я иудейка и простолюдинка", с другой — "взгляд мой ввезён

незаконно. Он странен", или — "здесь не грозит попаданье в струю". С одной — удовлетворение по поводу того, что "не совсем похожа на чужачку" и даже "сегодня утром рано / меня сочли супругою каблана", с другой — "я хотела б дожить до квартиры сухой". <...>

По отношению к Асе Векслер совершенно бессмыслен призыв "Любите живопись, поэты". Ею и без него владеет никогда до конца не исчерпываемое стремление "прорисовать" реалии, порой и самые страшные: "Прорисовать бы за развязкой / ад, что от взрыва простёк, / на мостовой ярчайшей краской, / чтоб лучше видел Бог".

"Хищный" художнический глазомер Аси Векслер подчас сочетается у неё с неожиданным ракурсом. Она видит мир в прямом и переносном смысле — с высоты. При этом чудесным образом возникает неожиданный оптический эффект: не только "большое видится на расстояньи", но и подробности человеческого существования, волнующая и тревожа, вырастают в своём значении...

Марк Вейцман, 2005

...Мне, наверное, трудно было бы объяснить многим, что вот существуют, пишутся, читаются стихи, в которых прежде всего — не попытка развала, не стилистическое и лексическое хамство, столь излюбленное сегодня пишущим большинством вокруг, не попытка подладиться под ту Зону, в которой мы продолжаем жить, а нечто совсем противоположное: попытка гармонизировать мир, причём попытка существенная, знаковая, в высшей степени профессиональная. Мне кажется, вся целиком эта твоя рукопись из разряда именно такого чтения, а вернее, даже не

чтения, а сопереживания, а у меня ещё это чтение-сопереживание связано с огромной радостью от того, что я слышу и вижу живой классический стих, изощрённый, умный, с блистательными рифмами и сбивами ритма (где надо!), и всё это в комплексе создаёт ту самую речь, по которой (прости за пафос!) так тоскует душа... И я нашёл у тебя строчку, которая относится ко всему, что ты делаешь, и ко всему, в чём я нуждаюсь, — это строка очень важная: *"Утешай нас всё, что безутешно"*. Я надеюсь, ты в самом скором времени выпустишь книжку <...>.

Михаил Яснов, 2.03.2011



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Сорок лет назад. От автора.</i>	7
Ментальность	27
Поздняя элегия	29
Почти монолог	30
Астрейя	31
Тоledo	33
586 год до н. э.	35
Университетская набережная	37
Во здравие.	40
Питерский сон	41
На память о побережье.	42
Sea Gate	44
Семь пятнадцать	46
Гранат.	47
Улица Исланд	
1. "Глядя на ранневечернюю пору..."	49
2. "Если не камни, то палки в колёса..."	49
3. "Милое дело — житьё островное..."	50
4. "Это у нас не расхлёбана каша..."	50
5. "Жара дневного, загара на коже..."	50
6. "Материковые островитяне..."	51
7. "По возвращении мягче погода..."	51
Между терактами	52
"Во что бы то ни стало, уберечь..."	53
В ожидании автобуса	54

Родство	56
Семейный портрет	57
Кораблик	58
"Иные здесь не приживутся. Им..."	60
Утро в Иерусалиме	61
Глория Азария	62
Лоджия	64
Закат	65
Песенка марионетки	67
Круговорот желаний	68
Характер	69
Исходя из мелочей	70
Без имиджа	72
Совпадения	73
Перед компьютером	75
Просьба	76
"Не призраки, а признаки старения..."	77
Свидетельство	78
"Отстранив года и числа..."	79
Данность	80
Хамд Улэла	81
Катрен	82
В одиночку	83
Воображаемые переводы	
"Нет ни того, кто меня ревновал..."	85
"Свет упадёт на траву..."	85
"Ни золотой каёмочки на блюде..."	86
За шитьём	86
Железная леди	88
Искусство перевода	90

Старинный мотив	91
Сквозной гул	
Из разговора в гостях	92
"Слышится на расстоянии голос живой..."	92
Междустиие	93
Современная поэзия	93
На воздухе	94
Строфы с цитатами	95
"Жизнь души вроде вещи в себе..."	96
Натюрморт с музыкальными инструментами	98
"Мастера Возрожденья! От холста до холста..."	99
Гойя. Автопортрет	100
Восточный натюрморт	102
Живописцы прошлого	104
Поздняя рукопись	106
Цикада	107
"Ещё не вечер. Вьётся хмель..."	109
<i>Оглядываясь на десятилетия</i>	<i>110</i>

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ
Современная израильская литература на русском языке
Виртуальный вариант в Интернете:
<http://magazines.russ.ru/ier>
<http://www.antho.net/jr>



Jerusalem Literary Review
Телефон: 972-2-9960302. E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

*Стоимость годовой подписки (4 номера):
в Израиле – 160 шекелей, включая пересылку;
в других странах – \$ 64, включая пересылку.*

По вопросам подписки и распространения:
jerusalem.anthology@gmail.com

*Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью*

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим

**ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2012 годах вышли книги:

- Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;
Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ» (27 израильских художников в специальном
цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;
Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»; Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга 2),
«Иерусалимский след» (книга 2), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»;
Вильям БАТКИН «Талисман души»; Илан РИСС «У разбитого горячего камня»;
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»;
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;
Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»;
Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Аси ВЕКСЛЕР, Игоря ГУБЕРМАНА,
Владимира ДРУКА, Феликса КРИВИНА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Черновой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства.